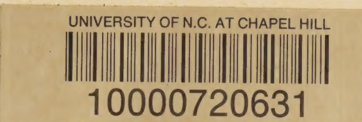
ZHIZN', LICHNOST' I TVORCHESTVO


LUX
LIBERTAS


UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
10000720631

КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

В. Е. ЕВГЕНЬЕВ-МАКСИМОВ

И. А. ГОНЧАРОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—1925

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА.

Библиография. Библиотековедение. Книжное дало.

Анисимов, В. И. Книжный переплет. Краткий конспект по истории и технике переплетного дела с рисунками на отдельных листах. П. 1921. Стр. 90. Ц. 1 р. 50 к.

Его же. Краткий конспект по печатанию с плоских стереотипов. П. 1921. Стр. 37. Ц. 40 к.

Его же. Основы и рисование печатного шрифта. Составлено на основании научных исследований. П. 1922. Стр. 68. Ц. 85 к.

Его же. Основы книжного набора. П. 1922. Стр. 45. Ц. 1 р. 20 к.

Его же. Спускание форм, определение и установка формата. Справочная книжка для факторов, метранпажей, печатных мастеров и проч., с многочисленн. схемами и технич. указаниями. П. 1923. Стр. 94. Ц. 2 р.

Белов, В. Белая печать, ее идеология, роль, значение и деятельность (материалы для будущего историка). П. 1922 г. Стр. 126. Ц. 30 к.

Библиография трудовой школы. Материалы к библиографич. указателю литературы по трудовой школе. М. 1920. Стр. 46. Ц. 15 к.

Библиотечное обозрение. Книга вторая. П. 1920. Стр. 296. Ц. 50 к.

Быстрянский, В. Газета в буржуазном и пролетарском государстве. П. 1921. Стр. 75. Ц. 5 к.

Вольная русская печать в Российской публичной библиотеке. Под ред. В. М. Андерсона. П. 1920. Стр. XXII—330. Ц. 1 р.

Вольценбург, О. Э., и Шлосберг, А. Н. Как устроить и вести маленькую библиотеку, П. 1921. Стр. 36. Ц. 6 к.

В помощь читателю. (Сборник рецензий на книги и брошюры, вышедшие главным образом за последние 4 года). Экономическое строительство. М. 1920. Стр. 32. Ц. 10 к.

Галактионов, И. Беседы наборщика. Техника и история. П. 1922. Стр. 180. Ц. 45 к.

Его же. Первопечатник Иван Федоров. П. 1922. Стр. 87. Ц. 30 к.

Десятичная международная классификация книг. Сокращенные таблицы, составленные особой комиссией при Главполитпросвете для обязательного употребления в библиотеках РСФСР. М. 1921. Стр. 54. Ц. 10 к.

Зеликсон-Бобровская, Н. Большевистские тайные типографии в Москве и Московской области 1904—1910 г.г. Воспоминания и документы. М.—П. 1923. Стр. 144. Ц. 50 к.

КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

В. Е. ЕВГЕНЬЕВ-МАКСИМОВ

И. А. ГОНЧАРОВ

ЖИЗНЬ, ЛИЧНОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—1925

Тип. имени Володарского. Ленинград, Фонтанка, 57.

Гиз. № 7431. Л—Х № 33, XI—1924. Ленинградский Гублит № 15326.
Напечатано 5200 экз.

I

Краткие сведения из биографии И. А. Гончарова. Хронологические даты.

Поскольку мы признаем справедливость суждения, выраженного в словах: «бытие определяет сознание», постольку для нас необходимо при анализе литературных явлений выяснение того, взаимодействием каких социально-экономических факторов было определено сознание данного литературного деятеля. Рассматривать творчество писателя вне социальной почвы его породившей, вне социальной среды его воспитавшей, было бы вопиющим нарушением вышеуказанного тезиса, и едва ли могло бы дать сколько-нибудь плодотворные результаты. Отсюда проистекает обязательность для всякой историко-литературной работы монографического характера в биографических экскурсах, имеющих целью, конечно, не освещение каких-либо биографических деталей, а исследование социальной почвы и социальной среды писателя и установление степени и характера их влияния на его сознание, а вместе с тем и на его произведения. Мы глубоко убеждены, что сказанное, в большей или меньшей степени, справедливо относительно изучения любого писателя, даже такого, в творчестве которого совершенно игнорируются социальные темы и сюжеты. Тем более оно справедливо относительно писателя-общественника, видевшего свое призвание в изображении современной ему социальной жизни. Возможно ли объективное суждение о произведениях такого писателя при условии, что мы не знаем его социальных

почвы и среды, при условии, что мы не дали себе труда задуматься над вопросом, психология какого общественного класса должна была сказаться в его творчестве...

Писатель, которому посвящена эта работа, был в полном смысле этого слова писателем-общественником. По его романам изучали и будут изучать русскую общественную жизнь средины XIX века, того интереснейшего периода, когда крепостническая, помещичье-дворянская Россия заживо разлагалась и, хотя не без боя, одну за одной сдавала свои позиции пред натиском России буржуазной. Вот почему в отношении Гончарова представляется особенно важным выяснение поставленных выше вопросов об его социальных среде и почве. Прежде чем приступить, однако, к этому выяснению, восстановим в своей памяти внешнюю и хронологическую стороны биографии Гончарова.

Иван Александрович Гончаров родился 6-го июня 1812 г. в Симбирске. Его родители—Александр Иванович Гончаров и Авдотья Матвеевна Гончарова (урожденная Шахторина)—принадлежали к купеческому сословию, при чем в год рождения писателя его отцу было 58 лет (родился в августе 1754 г.), а матери всего 27.

10-го сентября 1819 года скончался отец Гончарова, и место его «заступил» отставной моряк Николай Николаевич Трегубов, относившийся к Гончарову и его старшему брату Николаю с трогательной привязанностью и всемерно заботившийся об их духовном развитии.

К концу десятых, к началу двадцатых годов относится, надо думать, учение И. А. Гончарова сначала в симбирских частных пансионах, а затем в пансионе умного и образованного священника Ф. А. Троицкого, женатого на немке Лицман, находившемся в одном из подгородных дворянских имений.

Под 8-м июля 1822 г. в семейном «Летописце» Гончаровых читаем: «сего числа отправлен Ванечка в Москву, а определился в коммерческое училище августа 6 дня».

Ровно через 9 лет в августе 1831 г. Гончаров поступил на «словесный» факультет московского университета.

К следующему 1832 году относится литературный дебют Гончарова: на страницах «Телескопа» появляется переведенный Гончаровым отрывок романа Эжена Сю «Атаргюль».

В июне 1834 г. Гончаров окончил университет и возвратился на родину, где и прожил до средины 1835 года. К этому времени относится его служба, первая чиновничья служба Гончарова, в канцелярии симбирского губернатора А. М. Загряжского, описанного Гончаровым в его воспоминаниях «На родине» под именем Углицкого.

В 1835 году Гончаров вместе с уволенным Загряжским и его семьей едет в Петербург, где и определяется в департамент внешней торговли при министерстве финансов, занявши вскоре там должность переводчика иностранной переписки. К концу 30-х г.г. относится сближение Гончарова с семейством Майковых и группировавшимся вокруг него литературных кружком. Гончаров преподавал литературу старшим мальчикам Майковых—Аполлону, впоследствии известному поэту, и Валериану, выдающемуся, преждевременно погибшему, критику.

В 1839 году в рукописном сборнике «Лунные ночи», составившемся из произведений Майковского кружка, была помещена оригинальная повесть Гончарова «Счастливая ошибка», являющаяся как бы эскизом к «Обыкновенной истории».

К 1846 г. Гончаров закончил «Обыкновенную историю», которая и появилась весной 1847 г. (№№ 3 и 4) на страницах только что перешедшего в руки Некрасова и Панаева «Современника». К 46-му же году относится личное знакомство Гончарова с Белинским и приобщение его к кружку литературных деятелей, группировавшихся около Белинского.

В 1848 году в январской книжке «Современника» был напечатан Гончаровым рассказ «Иван Саввич Поджабрин»

и вышла отдельным изданием «Обыкновенная история». К 1849 г. относится поездка Гончарова на родину; в том же году в «Литературном Сборнике», изданном в виде приложения при «Современнике», взамен запрещенного цензурой «Иллюстрированного альманаха», появился «Сон Обломова», составляющий одну из существенных частей романа «Обломов».

11 апреля 1851 года умирает мать Гончарова Авдотья Матвеевна, годом пережив, по словам Г. Н. Потанина (см. «Исторический Вестник», 1903 г., № 4), «своего Николая Николаевича» Трегубова, а 7 октября 1852 г. снимается с якоря фрегат «Паллада», на котором Гончарову, в качестве чиновника министерства финансов, прикомандированного к адмиралу Путятину, суждено было объехать вокруг света. Кругосветное плавание Гончарова продолжалось два года, да около полугода занял сухопутный переезд через Сибирь; только в начале 1855 года Гончаров добрался до Петербурга.

В период с 1855 по 1857 год на страницах «Отечественных Записок», «Современника», «Библиотеки для Чтения», «Русского Вестника» и «Морского Сборника» печатались его «путевые заметки», которые составили впоследствии два обширных тома его путешествия «Фрегат Паллада», вышедшего отдельным изданием в 1858 году. За два года до того Гончаров изменил род своей служебной деятельности: он покинул министерство финансов, и с начала 1856 года перешел в министерство народного просвещения на должность цензора. В № 1 «Атенея» за 1858 год был напечатан отрывок из романа «Обломов», а весь роман появился в первых четырех книжках «Отечественных Записок» за 1859 г. В том же году «Обломов» вышел отдельным изданием.

В феврале 1860 г. Гончаров закончил свою цензорскую службу в министерстве народного просвещения и до 1862 г. нигде на службе не состоял. В 1860 же году Гончаров напечатал в «Современнике» (№ 2) очерк «Софья Николаевна

Беловодова» с подзаголовком «Эпизод из жизни Райского»; в 1861 году в «Отечественных Записках» (№№ 1 и 2) появились очерки «Бабушка» и «Портрет».

Летние месяцы 1862 года он провел на родине в доме своей сестры Анны Александровны Музалевской, в качестве не только любимого родственника, но и почетного гостя, которому все всячески старались угодить.

В июле того же 1862 года возникла мысль поручить Гончарову редактирование правительственной газеты «Северная Почта»; вскоре это и осуществилось, вызвав определение Гончарова на службу в министерство внутренних дел. Однако, редактирование Гончаровым официоза продолжалось недолго: в июле следующего 1863 года он оставил «Северную Почту» и вернулся к привычным для него обязанностям цензурного чиновника, получив назначение на должность члена совета по делам книгопечатания, в каковой должности и состоял по 30 августа 1865 г.

С учреждением главного управления по делам печати в октябре 1865 года Гончаров был назначен членом совета этого управления и оставался им до конца 1867 года, когда 55 лет от роду окончательно завершил свое чиновничье поприще, дослужившись до чина действительного статского советника.

С этого момента его жизнь, если брать ее наружную сторону, приобретает в высшей степени ровный и даже монотонный характер, разнообразясь лишь еще в 50-х годах начавшимися, в интересах здоровья предпринимаемыми, лечебными поездками за границу в летние месяцы. Не лишнее отметить, что во время этих побывок за границей особенно интенсивный характер принимала литературная работа Гончарова: за границей в 1857 году он создал «Обломова», за границей же в 1868 году обрабатывал «Обрыв», который и появился в первых пяти №№ «Вестника Европы» за 1869 г., а в следующем году вышел отдельным изданием. Свыше

двадцати лет прожил после этого Гончаров, но источники его художественного творчества в это последнее двадцатилетие его жизни, если и не совсем иссякли, то во всяком случае чрезвычайно ослабели. Вот перечень того, что он напечатал с начала 70-х годов по 1891 год—год смерти: «Миллион терзаний» («Вестник Европы», 1872 г., № 3); «Лучше поздно, чем никогда» («Русская Речь», 1879 г., № 6); «Литературный вечер» («Русская Речь», 1880 г., № 1); Четыре очерка: «Литературный вечер», «Миллион терзаний», «Заметки о личности Белинского», «Лучше поздно, чем никогда» (изд. Глазунова, Спб. 1881 г.); «Из университетских воспоминаний» («Вестник Европы», 1887 г., № 4); «Слуги», («Нива», 1888 г., №№ 1—4); «Воспоминания и очерки»: «На родине» («Вестник Европы», 1888 г., №№ 1 и 2); «Нарушение воли» («Вестник Европы», 1889 г., № 3) и «По Восточной Сибири» («Русское Обозрение», 1891 г., № 1). Рука об руку с ослаблением литературного творчества Гончарова шло его физическое увядание—естественное следствие как старости, так и прогрессировавшей болезненности. Жизнь его становится еще монотоннее; боязнь людей, особенно новых знакомств, стремление к уединению все возрастают. Летние побывки за границей заменяются выездами на дачу, сначала на Рижский штранд, затем в более близкий Гунгербург (Усть-Нарова), наконец, еще ближе—в подгородный Петергоф. При Гончарове в эти годы неотлучно находятся жена и дети его слуги Карла Трейгульдт, о которых он проявлял, пока был в силах, трогательную заботливость и которым он завещал свое состояние. Насколько бескорыстным было отношение к Гончарову этих облагодетельствованных им людей — сказать трудно. О последнем, предсмертном, так сказать, периоде жизни Гончарова, в частности о том, что представляла в это время его духовная личность, точных данных нет, ибо существующие свидетельства противоречат друг другу.

Племянник Гончарова, находившийся, надо заметить, с ним и раньше далеко не в дружественных отношениях, изображает его на пороге смерти выжившим из ума себялюбцем. «В течение двух последних лет,—пишет племянник писателя, Гончаров уже совершенно тронулся. Когда я навестил его, за год до его смерти, он выбежал ко мне в белом балахоне и стал кричать, жестикулируя: «Зачем вы пришли? Родственники мне надоели! Я обращусь к полиции, чтобы меня избавили от посещения родственников. Я никому ничего не оставляю»!.. В это время он находился всецело под влиянием своей экономки-няни, и из родных у него никого не было» («Вестник Европы», 1908 г., № 11).

Несколько иную, но в общем не менее тягостную, картину рисует Г. Н. Потанин, посетивший Гончарова 27 июля 1891 г., т.-е. менее чем за месяц до его смерти. С величайшим трудом, по словам Потанина, ему удалось добиться возможности увидеть Гончарова, чему явным образом старалась воспрепятствовать немка-домоправительница...

«Через час меня приняли,—рассказывает Потанин.—Пожалуйте — пригласила немка печально и провела в комнату, которая была гостиной. Но, Боже мой! какая убогая была теперь эта гостиная! Старая мебель в белых чехлах, старая скатерть на столе и коротенькие немецкие занавески на окнах, и больше ничего. Я заглянул в кабинет, и там та же пустота: один письменный стол без чернильницы, без перьев и без портрета Варвары Лукинишны *); нет даже этажерок с сокровищами Востока — все куда то исчезло. Один портрет дряхлого Гончарова с белой бородой; он также смотрел на меня тоскливо и попрежнему закрывал двумя пальцами свой правый, вытекший глаз. Господи! как здесь стало пусто, точно после покойника! Мне даже стало страшно в мертвой

*) Варвара Лукинишна — старинная знакомая Гончарова, за которой он в свое время ухаживал.

тишине... В это мгновение послышался шорох туфлей; я обернулся и увидал мощи Гончарова.

«Немка барыня и немка служанка вели его под руки; от изнеможения он упал в кресло. Передо мной был страшный Гончаров. Белый бумазейный халат, подпоясанный белой тесемкой; лицо — мертвец, волосы вылезли, зрячий глаз выцвел, щеки ввалились, рот от изнеможения открыт; особенно страшна была багровая яма, из которой вытек больной глаз; из ямы этой, точно из черепа, смотрела на меня черная тьма.

«— Что вам от меня нужно? — едва шопотом выговорил больной и после моего вопроса о племянниках отчаянно махнул рукой. — Пятнадцать лет, как я не знаю, где мои племянники. Ко мне не пишет никто.

«Глубокая тоска и скорбь послышались в его голосе. Я заговорил какое-то утешение, но в это же время чувствовал, что этого покойника теперь уже не утешить ничем. Мне было страшно и больно на него смотреть. «Простите меня, дорогой Иван Александрович, что я так настойчиво требовал настоящего свидания. Позвольте проститься с вами», — я поцеловал его руку. Он пошевелился в креслах, точно хотел встать и проводить меня, но от утомления закрыл здоровый глаз и задремал. «Точно мертвый», — скользнуло в голове. Я неслышно вышел из гостиной и едва нашел дверь на улицу из этого мертвого дома».

Итак, по воспоминаниям лишенного наследства племянника, Гончаров перед смертью был помешанным; по воспоминаниям Г. Н. Потанина, полнейшим рамоликом, живым покойником, едва способным к членораздельной речи... Совершенно иное представление о Гончарове в последние месяцы его земного пути создает рассказ близко его знавшего А. Ф. Кони. По этому рассказу канун смерти был для Гончарова временем высокого духовного просветления, удивительного нравственного подъема.

«С тех пор, как смерть, очевидно уже не далекая, простерла над ним свое крыло и своим дыханием помрачила его зрение и затем ослабила его слух,—читаем у Кони,—он просветлел духом и проникся ко всем примирением и прощением, словно не желая унести в недалекий гроб свои какие-либо тяжелые чувства. Он стал трогателен в своем несчастии, выражаясь словами его любимого поэта, «прост и добр душой незлобной»... В этом уединении, принимая только немногих близких знакомых, весь отдавшись заботам о будущем приголубленной им семьи, он ждал кончины со спокойствием верующего человека. «Я с умилением смотрю, — писал он мне в 1887 году — на тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек, которые, гнездясь по стенам в церквах или в своих каморках перед лампадкой, тихо и безропотно несут свое иго, видят в жизни и над жизнью только крест и евангелие, одному этому верят и на одно надеются. «Это глупые и блаженные» говорят мудрецы-мыслители! Нет, — это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных». В 1889 году с ним произошел легкий удар, от которого он оправлялся с трудом, а в ночь на 15-е сентября 1891 г. он тихо угас, не перенеся воспаления легких. Глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца. Я посетил его за два дня до смерти, и при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала жизнь, и сказал твердым голосом. «Нет я умру... Сегодня ночью я видел Христа, и он меня простил!».

На новом кладбище Александро-Невской лавры течет речка, один из берегов которой круто подымается вверх. Когда почил Иван Александрович Гончаров, когда с ним произошла всем нам неизбежная обыкновенная история, его друзья — Стасюлевич и я — выбрали место на краю этого крутого берега, и там покоится теперь автор Обломова... на краю обрыва». («На жизненном пути», т. II).

Как уже было указано, в распоряжении исследователя нет достаточно точных и объективных данных, которые позволили бы решительным образом поддержать мнение кого-либо из трех процитированных воспоминателей. Пусть серьезное подозрение внушит беспристрастие отзыва искони враждовавшего с дядей племянника. Но ведь о моментах душевной ненормальности Гончарова свидетельствует не только он. Эта ненормальность стала проявляться чуть ли не со времени ссоры Гончарова с Тургеневым, относящейся к 1859—1860 г.г. и вызванной подозрением Гончарова, что Тургенев присваивает его авторские замыслы, обворовывает его, как писателя. Существует особое исследование, доказывающее, что временами сознанием Гончарова владели бредовые идеи, что он был подвержен мании преследования (С. Г. Тер-Микельян. «Больная душа Гончарова». СПБ., 1916).

С другой стороны, письма Гончарова к М. М. Стасюлевичу («Стасюлевич и его современники», СПБ., 1912 г., т. V), относящиеся к 90-му и 91-му г.г. (последнее от 29 июля писано было за $1^1/_2$ месяца до смерти), указывают, как бы подтверждая тем самым справедливость рассказанного А. Ф. Кони, что их автор, по крайней мере, в момент их написания, находился в здравом уме и твердой памяти.

Возможно, что отмеченные противоречия в воспоминаниях объясняются тем, что и «тронутость» и рамоличность проявлялись лишь временами, в частности при встречах с неприятными почему-либо людьми; когда же Гончаров чувствовал себя в своей, так сказать, тарелке, общаясь со старинными испытанными приятелями и благожелателями, вроде Кони и Стасюлевича, он производил впечатление вполне нормального старика и на самом деле был тогда им.

II

Характеристика социальной почвы, породившей Гончарова, и среды, его воспитавшей.

Переходя к вопросу о социальной почве, породившей Гончарова, необходимо констатировать, что ее состав не был однородным. Основным слоем в ней, конечно, являлся торгово-промышленный класс. Гончаров происходил из старинного рода симбирских купцов, и его отец, Александр Иванович, представлял настолько уважаемое в среде местной буржуазии лицо, что его, по свидетельству Потанина, неоднократно выбирали симбирским городским головой. Но о деде писателя Иване Ивановиче Гончарове известно, что он принадлежал не столько к купечеству, сколько к кругу служилого дворянства, так как, состоя на военной службе в Оренбургском крае, при Ив. Ив. Неплюеве, он из полковых писарей дослужился до офицерских чинов — поручика, а затем и капитана.

Если, таким образом, характерною особенностью социальной почвы породившей Гончарова, является сочетание двух элементов—купеческого и дворянского, то это же сочетание характерно и для тех социальных среды и обстановки, которые окружали Гончарова с детства. Гончаров, само собой разумеется, — исконний горожанин, не даром он так категорически заявляет в «Слугах»: «я не знаю сельской жизни, я не владел крестьянами, не было у меня никакой деревни, земли; я не сеял, не собирал, даже не жил никогда по деревням»; «только ребенком девяти и десяти лет я прожил

в деревне два года»; «я век свой провел в городах». Все это так, но, тем не менее по сознанию того же Гончарова, городская жизнь его родной семьи носила чисто усадебный характер. «Дом у нас, пишет он в своих воспоминаниях «На родине», был, что называется, полная чаша, как, впрочем, было почти у всех семейных людей, не имевших по близости деревни. Большой двор, даже два двора со многими постройками: людскими, конюшнями, хлевами, сараями, амбарами, птичниками и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки—все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, деревня»... Кто же жил в этом «имении, деревне»? Прежде всего родители Гончарова, кровные буржуа, с многочисленной дворней богатого купеческого дома, а затем помещик Николай Николаевич Трегубов, владелец нескольких сот крестьянских душ, поддерживавший постоянные сношения со своими имениями, окруженный большим числом крепостных «Ванек», «Машек», «Егорок» и т. д. По смерти отца Гончарова произошло слияние этих двух групп гончаровской городской усадьбы: Николай Николаевич из флигеля, где он раньше квартировал, перебрался в большой дом, а дворовые поступили под начало Авдотьи Матвеевны Гончаровой. Отсюда видно, что, не живя в деревне, если не считать двух лет, проведенных в пансионе священника Троицкого, Гончаров провел свое детство в обстановке не очень резко отличающейся от той, которая окружала помещичьих сынков. «Дом—полная чаша»... многочисленные надворные постройки: людские, конюшни, хлева, птичники и т. д... «свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки»... амбары, заваленные провизией... большая крепостная дворня... частые наезды деревенских старост с оброками... и в центре всего настоящий барин в лице Н. Н. Трегубова, — вот, что давало материал для

детского восприятия будущего автора «Обломова». Отсылая читателей к тексту воспоминаний Гончарова, так художественно рисующих общественно-бытовую атмосферу, царившую в его родном доме, а в особенности образ Трегубова, называемого Гончаровым в его воспоминаниях Якубовым, не можем удержаться, чтобы не привести следующей характернейшей странички, которая, думается, служит великолепным комментарием к вопросу о зарождении в творческом сознании Гончарова идеи об Обломове и «обломовщине». «Он не выходил из халата, рассказывает Гончаров о приятеле Трегубова окрестном помещике Ф. П. Козыреве, и очень редко выезжал из пределов своего имения. У него была в нескольких верстах другая деревня, но он и в ту не всякий год заглядывал... Кроме сада, да своей библиотеки, он ничего знать не хотел, ни полей, ни лесов, ни границ имения, ни доходов, ни расходов. Когда он езжал в другую свою деревню, — рассказывали мне его же люди, — он спрашивал: «чьи это лошади»? на которых ехал. Точно также не знал и не хотел знать ничего этого и «крестный» мой, и третий их близкий друг и сверстник. А. Г. Гастурин. Когда я спрашивал Якубова о его хозяйстве, о посевах, умолоте, количестве хлеба — даже о количестве принадлежавшей ему земли и о доходах: «А не знаю, друг мой, — говаривал он, зевая: — что привезет денег мой кривой староста, то и есть. А сколько он высылает кур и уток, индеек, разного хлеба и других продуктов с моих полей — спроси у своей маменьки: я велел ему отдавать ей отчет, она знает лучше меня»!

«Когда оба старика приезжали в город на выборы, они обыкновенно жили у Якубова, и нам всем, детям, было от них тройное баловство. С утра бывало, они все трое лежат в постелях, куда им подавали кофе или чай. В полдень они завтракали. После завтрака опять забирались в постели. Так их заставали и гости.

«Мне кажется, у меня, очень зоркого и впечатлительного мальчика, уже тогда при виде всех этих фигур, этого беззаботного житья-бытья, безделья и лежанья, и зародилось неясное впечатление об «обломовщине».

Едва ли мы ошибаемся, если скажем, что духом дворянской обломовщины веяло на Гончарова и от всего симбирского общества. Симбирская губерния всегда была одною из дворянских, одною из самых помещичьих и в зимние месяцы, во время «сезона», Симбирск становился сборным пунктом для местных дворян, съезжавшихся из своих имений в надежде повеселиться на городской лад и образец.

Изложенное убеждает, насколько велика была роль дворянски-крепостнических элементов в социальной среде, окружавшей Гончарова с детства. Малое количество времени, проведенного Гончаровым собственно в деревне, при таких условиях, не мешало ему впитывать в себя дух того общественного класса, который зиждил свое благополучие на подневольном труде «трехсот Захаров». Но психика Гончарова не могла всецело поработиться влияниями, шедшими от дворянских элементов окружавшей его среды, прежде всего, потому, что они не были единственными. Противовесом их было, надо думать, материнское влияние. В распоряжении исследователя обидно мало сведений о матери писателя, но все же по тем несколько отрывочным сведениям (см. «На родине» и «Воспоминания Г. Н. Потанина»), которыми мы обладаем, можно заключить, что она была истою буржуазкой, хозяйственной и деловитой. Отличительными чертами ее характера являлись строгость и требовательность, которые распространялись и на детей и на домочадцев обширного гончаровского дома. «Мать, любила нас,—вспоминал впоследствии Гончаров,—не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается в горячих ласках, в слабом потворстве и угодливости детским капризам, и которая портит детей. Она

умно любила, следя неослабно за каждым нашим шагом, и с строгою справедливостью распределяла поровну свою симпатию между всеми нами четырьмя детьми. Она была взыскательна и не пропускала без наказания или замечания ни одной шалости, особенно если в шалости крылось какое-нибудь зерно будущего порока. Она была неумолима».

Влияние матери, быть может в связи с теми наследственными предрасположениями, которые Гончаров получил от своих предков—купцов, от своего деда, сумевшего из полковых писарей выйти в капитаны, выработало в его характере деловитость, практическую сметку и строгое отношение к своим обязанностям.

Эти его свойства отчасти уже проявлялись в годы учения, особенно же ярко сказались тогда, когда Гончаров начал свою чиновничью службу. В качестве чиновника, ему пришлось войти в соприкосновение с новой социальной средой, а так как чиновничья служба Гончарова продолжалась, говоря круглыми цифрами, тридцать лет, при чем эти тридцать лет целиком падают на молодые и зрелые годы, в которые духовно формируется человеческая личность, то влияние чиновничьей среды на Гончарова должно было особенно сказаться.

Поступил на службу Гончаров, как известно, очень рано, каких-либо 22 лет от роду. Поступил, главным образом, потому, что, согласно взглядам окружающей его среды, каждый молодой человек, по завершении своего образования, должен приняться за «дело», а какое же дело может быть пригоднее для «ученого» кандидата, чем служба. В данном случае мы вполне примыкаем к мнению К. А. Военского, который в своей статье о Гончарове («Русский Вестник», 1906 г., № 10) утверждает, что он «служил» потому, что все люди его общества служили... Цех вольных профессий, литературной, художественной и ученой—только что нарождался и не пользовался общественным уважением... Русская жизнь

была чужда понятий: «литератор», «писатель», а более широкое понятие «человек» приурочила к расторопному человеку—гарсону... Вот почему большинство писателей 40-х и 50-х гг. и их предшественники служили, «состояли» или, «числились при» и редкий из них так или иначе не вдохнул пыльного воздуха тогдашних канцелярий. Относительно Гончарова, кроме того, надо иметь в виду, что он поступил на службу прямо с университетской скамьи и гораздо позже открыл в себе живой источник творческой силы.

О впечатлениях от первой службы Гончарова мы узнаем из его воспоминаний. «Перезнакомившись со служебным персоналом», он мало-по-малу проник взглядом в «губернскую бездну». А «бездна» эта заключалась в том, что «непривилегированные поборы» составляли главный доход чиновников, и мысль о них в такой мере вошла в плоть и кровь общества, что эти «поборы» и не назывались взятками.

Губернатор Загряжский—Углицкий, чей необычайно красочный портрет Гончаров дал в своих воспоминаниях («На родине»), превосходно знал об этих порядках и «терпел» их уже четыре года. Но вдруг ему пришло в голову, «что знать это и терпеть долее было бы с его стороны нечестно», и он решился прекратить «нештатные» доходы или «поборы», при чем к исполнению своего замысла вздумал привлечь Гончарова, но Гончаров в ответ на предложение губернатора скептически заметил: «Это, ведь, значит положить конец самой системе».

Данный эпизод нельзя не признать характерным для молодого чиновника губернаторской канцелярии. О необходимости бороться со взяточничеством заговаривает не юный идеалистически настроенный питомец московского университета, а легкомысленный фат губернатор, при чем со стороны своего собеседника он встречает не восторженное изъявление готовности оказать всяческое содействие при осуществлении столь благого дела, а весьма недвусмысленное сомнение

в возможности что-либо сделать. Конечно, Гончаров в данном случае был совершенно прав по существу, но не свидетельствует ли эта его правота о несколько, быть может, чрезмерных в таком молодом человеке практичности и благоразумии.

За годом службы в Симбирске потянулись долгие годы службы в Петербурге в министерстве финансов. Нет сомнения, что личные впечатления легли в основу тех ярких картин департаментской жизни и среды, которые содержатся в первом из романов Гончарова «Обыкновенной истории» «Где же разум, оживляющий и двигающий эту фабрику бумаг?»—вот вопрос, над которым Гончаров, разумеющий под «фабрикой бумаг» департамент, заставляет задумываться своего героя Александра Адуева, и сам же отвечает на него целым рядом художественных образов работников, приводящих в движение «бюрократическую машину». Здесь и начальник отделения, иронически сравниваемый с «Юпитером—Громовержцем»: «откроет рот и бежит Меркурий с медной бляхой на груди; протянет руку с бумагой—десять рук тянутся принять ее». Здесь и столоначальник Иван Иванович—«желтая фигура с обтрепанными локтями», который дрожит перед начальником отделения, «как лист перед травой», стараясь проявить как можно больше «подобострастия». Здесь и другой столоначальник, склонный к «искренним излияниям», что не мешает ему быть картежником, чуть ли не шулером, завлекающим и обыгрывающим молодых и неопытных сотоварищей. Здесь и помощник столоначальника, «человек с твердой волей, с железным характером», имеющий привычку брать в долг без отдачи. Узнав, что Александр Адуев отчасти уже сделался жертвой этих сослуживцев, искушенный в знании петербургского чиновничества, дядя говорит ему: «А ты думал, что там около тебя ангелы сидят... Как, кажется, не подумать о том прежде: не мерзавцы ли какие нибудь около...».

Нет надобности распространяться, что подобная социальная среда мало чего хорошего могла привить Гончарову. В лучшем случае она способствовала развитию деловитой практичности, усидчивости, выдержке даже в неинтересной работе, наконец, добросовестному отношению к своим обязанностям, но с другой стороны она непомерно суживала круг интересов, замыкая их в сферу обывательщины, канцелярской рутины, этического мещанства, культивировала карьеризм и эгоистическое безразличие ко всему, из чего нельзя извлечь для себя непосредственной пользы. Если бы Гончаров дал всецело подчинить себя влиянию этой среды, он был бы конченным для литературы человеком. К счастью этого не произошло, но все же тлетворное дыхание петербургских канцелярий оставило неизгладимый след на его духовном облике... Не забудем, ведь, что он служил маленьким чиновником целых 20 лет, с 1835 по 1856 г., не считая перерыва, вызванного путешествием на фрегате «Паллада». 20-летнее просиживание стульев на «фабрике машин», в роли мелкого исполнителя чужих распоряжений, разве оно могло пройти бесследно, разве оно не должно было раз навсегда закрыть для Гончарова некоторые из путей духовного развития, доступных для людей, молодость которых прошла в иной среде?..

А. Я. Головачева-Панаева, рассказывая о громадном успехе «Обыкновенной истории», когда стали разузнавать настоящую и прошлую жизнь писателя, при чем были недовольны сдержанностью Гончарова,—заносит, между прочим, такой факт: «Тургенев объявил, что он со всех сторон «штудировал» Гончарова и пришел к заключению, что он в душе чиновник, что его кругозор ограничивается мелкими интересами, что в его натуре нет никаких порывов, что он совершенно доволен своим мизерным миром и его не интересуют никакие общественные вопросы: он даже как то боится разговаривать о них, чтобы не потерять благонамеренность чиновника». (см. ее книгу «Русские писатели и артисты»).

Беспристрастие отзыва Тургенева, равно как и достоверность передачи Панаевой-Головачевой не могут не внушать сомнений; тем не менее «дыму без огня не бывает» и весьма вероятно, что Гончаров производил именно такое впечатление на Тургенева и других писателей 40-х гг., группировавшихся вокруг Белинского.

Ниже нам предстоит остановиться на тех влияниях, которые спасли Гончарова от окончательного погружения в тину канцелярского болота, которым, равно как своему прирожденному художественному таланту, он обязан тем, что вышел на широкую дорогу литературного творчества.

III

Культурные воздействия, влиявшие на Гончарова в 20—40-ые годы.

Как ни косна, как ни старозаветна была среда, в которой протекали детские годы Гончарова, однако, и она не осталась изолированной от либеральных веяний, охвативших в 20-е годы значительную часть русской интеллигенции. В числе немногих близких Н. Н. Трегубову людей Гончаров в своих воспоминаниях «На родине» называет некоего Бравина и рассказывает, что после 14 декабря 1825 г. его, как председателя массонской ложи, отвезли в Петербург, забрав его переписку. Под псевдонимом Бравина Гончаровым, как об этом свидетельствуют исследования М. Суперанского, описан князь М. М. Баратаев, замечательный человек своего времени. Веселый, общительный, он в то же время был «любитель наук», избранный членом Французской академии и других европейских академий. Как общественный деятель, он сделал у себя на родине много полезного. Учредитель симбирской массонской ложи «Ключ к добродетели», он находился в сношении с некоторыми членами общества «соединенных славян», прикосновенными к декабрьскому восстанию. «Знакомство это было причиной вызова его в Петербург и ареста Баратаева, через три недели выпущенного».

Общение с Бравиным - Баратаевым, как с человеком глубоко образованным и проникнутым гуманно-прогрессивными идеями, само собой разумеется, не могло пройти

бесследно для впечатлительного юноши («Вестник Европы» 1907 г., № 2, ст. М. Суперанского).

Подстать Бравину был другой еще более близкий друг Трегубова, уже известный нам Ф. Н. Козырев (под таким именем, по крайней мере, он фигурирует в воспоминаниях Гончарова). Поклонник Вольтера и всей школы энциклопедистов, он, по словам Гончарова, «и сам смотрел маленьким Вольтером, острым, саркастическим — как многие тогда поклонники Вольтера. Дух скептицизма, отрицания светился в его насмешливых взглядах, улыбке и сверкал в речах». Козырев не только вел с питомцами своего друга Иваном и Николаем Гончаровыми беседы о французских писателях, но и читал с ними произведения французской поэзии, декламируя Расина, Корнеля и «Генриаду» Вольтера — одно из вольнодумных произведений литературы XVIII века. Характерно, что в годы деморализации, последовавшей за 14-м декабря, когда цветы дворянского свободомыслия быстро начали увядать, Козырев остался верен себе: он и ухом не вел в своей деревенской норе и «саркастически посмеивался и над крутыми мерами властей и над переполохом».

К сожалению, гораздо слабодушнее оказался в данном отношении сам Трегубов. На расспросы Ивана Александровича о том, что делалось на собраниях масонской ложи к которой он принадлежал, он отделывался уклончивыми ответами, укоряя своего собеседника в излишнем любопытстве. Передавая Гончарову белые перчатки, сохранившиеся у него от масонских времен, он боязливо шептал ему: «Это масонские, давно у меня лежат: молчи, ни слова никому. Хотя,— добавляет Гончаров,—около нас никого не было». Не ограничиваясь соблюдением подобных предосторожностей даже в беседах с близкими людьми, Трегубов, что было уже гораздо хуже, не удержался от прямых компромиссов с совестью: «чтоб не сочли за вольнодумца, да не донесли... «жандармы», он готов был «почтительно» кланяться всякому

приезжему тайному советнику, хотя бы лично с ним незнакомому. Вероятно, эти же соображения побуждали его настаивать, чтобы Иван Александрович, только что приехавший в родной город по окончании университета, «представился бы губернатору, съездил бы и к архиерею тоже, и к председателям палат, да еще к такому то и к такому то...» Не разделявший «этого принципа старого века — соваться везде, где и не нужно», Гончаров легко подчинился губернскому режиму и был с визитом как у знакомых, так и у незнакомых. Справедливость требует оговорить, что все же от Трегубова, несмотря на его осторожничание, исходил в достаточной мере явственный для столь близко стоявших к нему людей, как «Ваня», вольнодумный душок. «Иногда я подмечал,—рассказывал Гончаров,—что он, стоя у окна и глядя в пространство, что-то горячо бормотал про себя, жестикулировал, повидимому, протестуя против разговоров или чтения в газетах о некоторых крутых мерах, однажды до меня долетели слова: «Простого выговора не стоит,— сквозь зубы бормотал он, бросая газету: — а его на поселение...» Если протесты, относившиеся к действиям высшего правительства, бормотались сквозь зубы и втихомолку, то о представителях местного чиновничества Якубов в разговорах с «Ваней» не боялся высказываться с полною определенностью, порицая их за взяточничество и казнокрадство.

В результате, хотя общение с «либералистами», вроде Баратаева, Козырева и особенно Трегубова, конечно, не могло привить Гончарову, определенного политического credo, тем более не могло пробудить в его душе стремления к активной гражданственности, т. е. к претворению известных общественных идей в жизни, к борьбе за эти идеи, но все же должно было настроить его критически к некоторым сторонам тогдашней действительности, внушить ему чувство известной гуманности, в отношении к тем, кого тогда считали «низшими».

Не меньшую роль в формировании духовного облика Гончарова сыграло и то, что его сознания рано коснулись влияния науки и литературы. Здесь опять таки придется говорить о Трегубове. Он, как описывает его Гончаров, «был вполне просвещенный человек. Образование его не ограничивалось техническими познаниями в морском деле, приобретенными в морском корпусе. Он дополнял его непрестанным чтением — по всем частям знания, не жалел денег на выписку из столиц журналов, книг, брошюр. По мере того, как он старел, а я приходил в возраст, между мной и им установились — с его стороны передача, а с моей живая восприимчивость его серьезных технических познаний в чистой и прикладной математике. Особенно ясны и неоцененны были для меня его беседы о математической и физической географии, астрономии, вообще космографии, потом и навигации. Он познакомил меня с картой звездного неба, наглядно объяснял движение планет, вращение земли, все то, чего не умели или не хотели сделать мои школьные наставники. Я увидел ясно, что они были дети перед ним в этих технических преподанных мне им уроках. У него были некоторые морские инструменты, телескоп, секстант, хронометр. Между книгами у него оказались путешествия всех кругосветных плавателей, с Кука до последних времен. Я жадно поглощал его рассказы и зачитывался путешествиями».

Продолжал чтение Гончаров и в пансионе священника Троицкого, в библиотеке которого нашел, по данным автобиографии, напечатанной в «Художественном Листке» Тимма (1859 г., № 14), Державина, Фонвизина, Озерова и Хераскова, несколько детских книжек по естественной истории. Не брезговал будущий автор «Обломова» и «Бовой» с «Ерусланом», добытыми в лакейской. Поглощались им и романы Коттен, Жанлис, Радклиф и описания неслыханных происшествий, всего, что более действует на воображение.

Пансион, что нельзя не признать особенно важным, помог Гончарову овладеть иностранными языками и сделал для него доступным чтение французских и немецких авторов в подлинниках. Как ни темны в биографическом отношении годы, проведенные Гончаровым в московском коммерческом училище, однако, можно предполагать, что и в эти годы Гончаров с прежним увлечением предавался чтению, при чем, по мере того, как он переходил из отроческого возраста в юношеский, выростал его интерес к представителям французской романтической школы.

Лишь с поступлением Гончарова в московский университет его чтение перестало быть беспорядочным и, по данным его автобиографии, напечатанной М. Суперанским («В. Е.», 1907 г., № 2), приобрело «надлежащее направление»: «он отрезвился от влияния современной французской литературы, как чтением образцов английской и немецкой литератур, так и знакомством с древними историками и поэтами». В приводимый Гончаровым перечень авторов, дававших материал для критических разборов с профессорских кафедр, вошли индийские эпопеи и драмы, Гомер, Вергилий, Тацит, Дант, Сервантес, Шекспир. Независимо от авторов, знакомство с которыми требовалось университетскими занятиями, Гончарова пленял Тасс в своем «Иерусалиме»; потом, изучив Клопштока, Оссиана, внимательно перечитав «наших эпиков», он обратился к новейшей эпопее Вальтера Скотта, с которым и ознакомился «пристально». Хотя путешествия и популярные сочинения также занимали его внимание, но его любимым чтением были все таки произведения поэзии. Из современных русских авторов властителями дум Гончарова были Карамзин и особенно Пушкин. «Юношеское сердце, читаем в автобиографии «Худож. Листка» Тимма, искало между писателями симпатии и отдавалось тогда Карамзину, не как историку и не как поэту, потому что Карамзин не был художник, но как гуманнейшему из писателей... Живее и глубже всех поэтов

поражен и увлечен был Гончаров поэзией Пушкина в самую свежую и блистательную пору силы и развития великого поэта и в поклонении своем остался верен ему навсегда, несмотря на позднейшее, тесное знакомство с корифеями французской, немецкой и английской литератур. В «Воспоминаниях» Гончарова «В университете», характеризуя свое отношение к Пушкину в университетские годы, Иван Александрович употребляет еще более яркие краски: «я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь восторга». Встречи с Пушкиным неизгладимыми чертами врезывались в память Гончарова, и он много лет спустя передавал впечатления от этих встреч с такой экспрессией, как будто бы они имели место два — три дня тому назад. А сколько трогательной любви и пиэтета к Пушкину чувствуется в рассказе о том, как Гончаров, маленький чиновник таможенного ведомства, узнав о смерти Пушкина, вышел в департаментский коридор и «плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины» (А. Ф. Кони «На жизненном пути», т. II).

Параллельно с влиянием литературы шло влияние университетского преподавания. В цитированном уже очерке «В университете» прямо-таки с подъемом говорится о воздействии университетской науки на учащуюся молодежь того времени. «Свободный выбор науки, требующий сознательного взгляда на свое влечение к той или другой отрасли знания, и зарождавшееся из того определение своего будущего призвания — все это захватывало не только ум, но и молодую душу... Умственный горизонт его (юноши) раздвигается, перед ним открываются перспективы и параллели наук и вся бесконечная даль знания, а с нею и настоящая, законная свобода — свобода науки. Программы, инструкции бессильны против свободы науки. Сжатая в учебных классах, как река в тесных берегах, она с университетской

кафедры изливается широким и вольным потоком. Между профессорами и слушателями устанавливается живой ток передачи жадному вниманию их ее откровений, истин, гипотез... Наша юная толпа составляла собою маленькую ученую республику, над которой простиралось вечно-ясное небо, без гроз и внутренних потрясений, без всяких историй, кроме всеобщей и российской, преподаваемых с кафедры... И точно была республика: над нами не было никакого авторитета, кроме авторитета науки и ее преподавателей. Начальства как будто бы никакого не было...» В этой в неизменно розовых тонах выдержанной характеристике много объективно неверного, потому что московский университет в начале 30-х годов, как это подтверждено целым рядом разнообразнейших свидетельств и документальных данных, менее всего напоминал рисуемую Гончаровым «аркадскую идиллию», а скорее походил на инквизиторский застенок, истреблявший в мрачные годы николаевского режима живой дух свободного развития лучших способностей и стремлений русской молодежи (вспомним, как невыносимо тяжело дышалось в московском университете Лермонтову, Герцену с друзьями, как в нем вовсе не нашлось места Белинскому), но субъективно она (эта характеристика), думается нам, верно передает те впечатления и настроения, которые испытывал в студенческие годы Гончаров, оставшийся в стороне от того, что волновало и возмущало его менее безразличных к общественной атмосфере товарищей, чуждый университетским кружкам того времени с их напряженною духовною жизнью. Для Гончарова университет «был просто правительственное учреждение, открывавшее свои двери для всех ищущих знания», в которое собираются так, «как собираются на публичные лекции, в церкви и т. д.». Когда лекции профессора Давыдова по истории философии были запрещены, то на Гончарова это выдающееся по тем временам событие не произвело никакого впечатления. «Говорили, равнодушно повествует

он, что в них проявлялось свободомыслие, противное... не знаю чему. Я не читал этих лекций». Поразителен общественный индифферентизм Гончарова, сказавшийся в данном случае!

Кроме общей характеристики того, что давала университетская наука своим питомцам, Гончаров останавливается на преподавании каждого из своих профессоров в отдельности, особенное внимание уделяя Каченовскому, Надеждину и Шевыреву. Первого, читавшего русскую историю, Гончаров превозносит за его тонкий критический анализ исторических фактов, за его нежелание принимать что-либо на веру, в основе которого лежал неумолимый скептицизм. Надеждин, занимавший кафедру теории изящных искусств и археологии, увлекал Гончарова как разносторонностью своих познаний в области искусства, литературы, истории, философии, так «своим вдохновенным горячим словом», дававшим слушателям образцы «мастерского владения речью», учившим их «чистому и изящному складу» русского языка. Шевырева студенты ценили и за изящество речи и за тонкую глубокую оценку произведений старых и новых литератур. Из трех названных университетских деятелей, конечно, крупнее всех был Надеждин, а потому не лишнее будет, хотя бы вкратце остановиться на вопросе, что он мог дать для литературно-эстетического развития Гончарова в 1831—1834 гг. Не вдаваясь в подробную характеристику теоретических взглядов Надеждина, отметим, что он принадлежал к непримиримым врагам романтизма на русской почве и призывал родную литературу освободиться от чуждых навеянных извне влияний и решительным образом повернуть к «естественности, к народности». Эти призывы совпали с пребыванием Гончарова в университете, найдя себе гласное выражение и в известной статье Надеждина «Отчет о литературе русской за 1831 год», помещенной в № 1, редактируемого Надеждиным «Телескопа» за 1832 г. и в публичной речи,

произнесенной им 6-го июля 1833 г. С другой стороны на лекциях и в статьях Надеждина, например, в статье «Литературные опасения» 1828 г., ставился и всесторонне обсуждался очень важный для всякого художника вопрос, должно ли художественное творчество подчиняться какому-либо «умственному или нравственному интересу» или же «интерес эстетический должен быть безпримесен». Если в произведениях Гончарова наблюдается полнейший разрыв с романтизмом и весьма критически изображаются его российские представители, вроде Александра Адуева, если эти произведения обнаруживают и по темам, и по своим стилистическим особенностям, так много «естественности и народности», то едва ли в этом не сказалось, хотя бы в некоторой степени, Надеждинское влияние. Горячая проповедь любимого наставника не могла не толкать мысль юного студента, впоследствии великого художника слова, именно в этом направлении. А Гончаровские рассуждения в его profession de foi «Лучше поздно, чем никогда» о двух типах художников—художниках, работающих сознательно, в духе развития определенных идей, и художников, творящих бессознательно, увлеченных больше всего своею способностью рисовать, разве они не напоминают соответствующих тирад из «Литературных опасений» (эта статья написана в форме диалога между Надеждиным и Тленским)..?

Во вторую половину 30-х гг., в начале петербургского периода своей жизни, Гончаров делается своим человеком в доме художника Майкова, где, кроме него, бывали поэт В. Г. Бенедиктов, И. И. Панаев, Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, С. С. Дудышкин, А. В. Старчевский, Вл. Андр. Солоницын, бывший начальник Гончарова по департаменту внешней торговли и тоже писатель. Сохранилось любопытное свидетельство самого Гончарова о той литературно-артистической атмосфере, которая царила у Майковых и поддерживалась, главным образом, самим хозяином. «Он

жил, писал Гончаров о старике Майкове в некрологе его, напечатанном в 70 гг. в газете «Голос», как живут или если теперь уже не живут так, как живали артисты, думая больше всего об искусстве, любя его, занимаясь им, и почти ничем другим. Дом его лет 15—20 и более назад, кипел жизнью, людьми, приносившими сюда неистощимое содержание из сферы мысли, науки, искусств. Молодые ученые, музыканты, живописцы, многие литераторы из круга 30-х и 40-х гг., все толпились в необширных, не блестящих, но приютных залах его квартиры, и все вместе с хозяином составляли какую-то братскую семью или школу, где все учились друг у друга, обмениваясь занимавшими тогда русское общество мыслями, новостями науки, искусств. Старик Майков радовался до слез всякому успеху и всех, не говоря уже о друзьях, в сфере интеллектуального или артистического труда, всякому движению вперед во всем, что доступно было его уму и образованию». Майковский кружок, при таких условиях, не мог не оказать самого благотворного влияния на художественное развитие молодого Гончарова, который по справедливому замечанию своего биографа (Е. А. Ляцкого), отдыхал здесь от «мертвой» канцелярской работы. Среди разнообразных литературных и художественных попыток, чередовавшихся с чтением Пушкина и классиков, под оживленные толки о домашних спектаклях и споры о литературном сборнике, родились и первые творческие опыты Гончарова...

Прежде чем перейти к анализу этих последних, не лишнее будет, хотя бы в общих чертах воссоздать духовный облик Гончарова, как он сложился к началу его литературной деятельности. Деловитый и практичный, осторожный по своим природным свойствам, унаследованным от предковбуржуа—купцов и заводчиков, он избегал в своем интимном обиходе всего волнующего, требующего напряжения телесных или духовных усилий, предпочитая итти протоптанными до-

рогами, не отказывал себе в отдыхе и комфорте—не даром с детства наблюдал картины на даровых крестьянских хлебах возросшей обломовщины при своих соприкосновениях с представителями провинциального дворянства. Когда же бывал на службе и чувствовал над собою начальственную ферулу, без особого труда преодолевал обломовские влечения и неизменно проявлял себя упорным и выдержанным в работе, вполне «благонамеренным» чиновником — службистом. Одним словом, по первому впечатлению, казался, если не таким, как все, то во всяком случае таким, как очень и очень многие. Но приглядевшись к нему, нетрудно было заметить, что за ординарною внешностью скрывается человек большого ума и широкого образования, хорошо знакомый и с древними классиками, и с французской литературой XVIII века, и с освободительными идеями 20-х годов, и с романтизмом в его, как русских, так и западно-европейских литературных проявлениях; человек, всем существом своим тяготеющий в сторону эстетических интересов и переживаний и, может быть, в силу этого своего эстетизма, довольно-таки равнодушный не только к общественным злобам дня, но и ко всей обширной сфере того, что входило в те времена в понятие «политики».

IV

Литературный дебют Гончарова—повесть «Счастливая ошибка». Работа над «Обыкновенной историей». Вопрос об источниках этого произведения. Его социальный смысл. Художественная сторона.

Первым литературным опытом Гончарова была помещенная в рукописном сборнике «Лунные ночи», составленном участниками Майковского кружка, повесть «Счастливая ошибка». Энергии французского ученого А. А. Мазона мы обязаны первым знакомством с ее содержанием, а ныне она напечатана в 3-ем Стокгольмском издании книги Ляцкого о Гончарове.

Вот ее краткое изложение (по книге Ляцкого).

«Егор Петрович Адуев, герой повести, красивый и не глупый молодой человек, самодовольный и богатый, уже несколько лет живет в Петербурге. Пережив сентиментальный период своей юности,—о чем кратко упоминает автор,—он влюбляется в молодую девушку, баронессу Елену Неулейн, и хочет на ней жениться. О своем намерении он никому не сообщил, но оно было ясно и для родителей девушки и для нее самой. Адуеву кажется, что любовь его—последняя в его жизни и что только она может составить его счастье. Ему кажется, что Елена его тоже любит. Но она кокетка, и ее кокетство тревожит и волнует его. У нее, повидимому, много поклонников, с которыми она болтает, шутит, смеется, делая вид, что забывает Адуева. Ее лукавая игривость приводит его в полнейшее отчаяние. Адуев сердится, Елена смеется. Он сердится и романтически резонерствует как Адуев «Обыкно-

венной истории», а молодая девушка продолжает смеяться. Он упрекает ее в том, что она не понимает его и не любит, и наконец увлеченный своим собственным красноречием, заявляет ей, что расстается с ней навсегда. Он возвращается домой печальный, расстроенный и предается отчаянию. Но он хочет взять себя в руки. Зовет к себе своего управляющего и говорит, что будет сам ежедневно заниматься своими делами, за которые давно не принимался. После этого энергического решения,—которому читатель поверит едва-ли больше, чем решимости Обломова,—Адуев думает совершенно о другом, а именно как бы приятно провести день.

«Он приглашает к себе несколько приятелей, отъявленных кутил, но неожиданно и сам получает приглашение на бал, который должен был состояться в тот же вечер в Купеческом собрании.

«Он отправляется, приказав кучеру «ехать в Купеческое собрание, в тот дом на Английской набережной, где постоянно бывают балы».

«Бал оказался блестящим».

«Адуев несколько растерялся среди важных чиновников, дипломатов, представителей высшего общества, которых он там встретил. Вдруг он встречает Елену, она совсем другая: меланхолическая, равнодушная к своим поклонникам, молчаливая, задумчивая.

«Теперь он убеждается, что она его любит, и, при встрече с ней, просит у ней извинения».

«Настроение их сразу меняется».

«Еще до окончания бала они отыскивают родителей Елены и просят их благословения. Те дают согласие. На следующий день Адуев узнает, что все произошло благодаря счастливой ошибке, так как кучер вместо купеческого собрания, заехал во дворец неаполитанского посла, «в тот дом на Английской, где постоянно бывают балы».

При чтении «Счастливой ошибки» нетрудно заметить наличность Гоголевского влияния. В подтверждение достаточно сослаться хотя бы на описание наружности отца героини, выдержанное в чисто Гоголевских тонах. В духе Гоголя и частые обращения к читателю. Не случайно конечно, и в качестве эпиграфа повести взято Гоголевское изречение: «Господи, боже ты мой! и так много всякой дряни на свете, а ты еще жинок наплодил».

Из изложенного видно, что Гончаров не совсем был прав, когда в статье «Лучше поздно, чем никогда», всячески подчеркивая, что его «учителем был Пушкин», заявлял: «Гоголь на меня влиял гораздо позже и меньше». Анализ литературного дебюта Гончарова приводит скорее к обратному заключению.

Далее, при рассмотрении «Счастливой ошибки» обращают на себя внимание страницы, посвященные изображению Петербургских сумерек. Чувствуется, что так писать мог только исконный горожанин, настоящий «буржуа», для которого город полон своеобразной поэзии и обаяния—недоступных для вскормленника деревенской усадьбы—барича-помещика. К этому последнему в душе Гончарова, бесспорно, критическое отношение. Под влиянием его, он даже поддался соблазну ввести в повесть социальный мотив—заклеймить произвол помещиков в отношении крепостных. Адуев, взбешенный неудачей, постигшей его в любви, обрушил свой гнев на ни в чем неповинных крестьян и дворовых. В повесть введена сценка, свидетельствующая, до какой жестокости он может доходить. Правда, завоевав любовь Елены, он отменяет свои распоряжения и готов даже благодетельствовать крестьян, но все же данный эпизод из содержания повести дает материал для вывода: судьбы крепостных всецело зависят от расположения духа барина.

Наконец, и это, может быть, самое важное, на чем приходиться останавливаться при анализе «Счастливой ошибки»,

в ней, как справедливо отмечает А. А. Мазон, лежит зародыш большей части позднейших произведений Гончарова. Можно сказать, что Адуев, герой «Обыкновенной истории», существует уже с 1839 г., ибо Егор и Александр Адуевы — это родные братья, столь похожие друг на друга характером, что их даже нельзя различить. Когда Егор, не имея достаточного повода для раздражения, с горячим красноречием обрушивается на невинное кокетство Елены, нам кажется, что мы слышим Александра Адуева, ибо и «Счастливая ошибка» и «Обыкновенная история» в равной степени характеризуются юношеской неуравновешенностью и романтическим пафосом героев. И надо заметить, что Егор Адуев в то же время родной брат Обломова: в сцене его с управляющим уже предчувствуются элементы будущего романа, доставившего Гончарову славу. В словах Егора Адуева уже слышится речь Обломова.

Вскоре по окончании повести «Счастливая ошибка», началась работа Гончарова над «Обыкновенной историей». Сохранились не безынтересные указания, что в Майковском кружке Гончаров читал эту повесть до ее напечатания, и что этот же кружок дал ему типы, которым он воспользовался для повести. Один из частых посетителей дома Майковых А. В. Старчевский, категорически утверждает («Исторический Вестник», 1886 г., № 3), что Гончаров «выкроил» своего, главного героя, дядюшку Адуева, из знакомых ему по кружку — его бывшего начальника Владимира Андреевича Солоницына и Андр. Парф. Заблоцкого - Десятовского, людей «положительных и черствых, при том не последних эгоистов, мечтавших только о том, как бы выйти в люди, составить капиталец и сделать хорошую партию»; прототипами для Адуева - племянника послужили молодой Солоницын (племянник Владимира Андреевича) и Мих. Парф. Заблоцкий-Десятовский. «Прощание с матерью, приготовление к отъезду и первое впечатление, произведенное на племянничка Петер-

бургом, добавляет тот же воспоминатель, — это описание своего отъезда из родного гнезда и приезд в Петербург».

Необходимым добавлением к этому сообщению Старчевского является нижеследующее признание самого Гончарова в его статье «Лучше поздно, чем никогда»: «Когда я писал «Обыкновенную историю», я, конечно, имел в виду — и себя, и многих, подобных мне, учившихся дома, или в университете, живших по затишьям, под крылом добрых матерей, и потом отрывавшихся от неги, от домашнего очага со слезами, с проводами и являвшихся на главную арену деятельности в Петербург».

Из сопоставления этих двух свидетельств с неизбежностью вытекает, что Гончаров при создании своего первого большого романа пользовался двумя источниками: наблюдением над окружающей его жизнью и ее типами и самонаблюдением. С одной стороны, он претворял в своем творчестве, то, что видел вокруг себя и вне себя, с другой стороны, отображал многое из пережитого и испытанного им лично. Сила художественного дарования Гончарова, в значительной степени, в том и заключалась, что он умел с неподражаемым искусством и объективные, почерпнутые из наблюдения над окружающим миром, и субъективные, почерпнутые из самонаблюдения, элементы сливать в цельную, глубоко-жизненную, пленяющую своим беспристрастием картину.

Вполне допустимо также предположение, что основная мысль романа о превращении беспочвенного барича-романтика в эгоистичного чиновника-дельца — возникла в сознании Гончарова не без влияния образов его любимого поэта — Пушкина.

Младший Адуев — как бы олицетворение участи, какую Пушкин считал возможною для мечтателя Ленского, который, как и Адуев, тоже «любил восторженную речь» и «славы сладкое мученье».

Его душа была согрета
Приветом друга, лаской дев.
Он сердцем малый был невежда,
Его лелеяла надежда,
И мира новый блеск и шум
Еще пленяли юный ум.
Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего . . .
Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна;
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его принять оковы . . .

Не трудно заметить, что здесь нашли себе отражение основные черты того миросозерцания, представителем которого является Александр Адуев.

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел—
Прошли бы юношества лета,
В нем пыл души бы охладел;
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился;
В деревне счастлив и рогат
Носил бы стеганный халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И, наконец, в своей постели
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

Эти замечательные строки, рисующие не того Ленского, который погиб на дуэли, а Ленского in potentia, опошлевшего и бросившего свои поэтические восторги, находят себе некоторую аналогию в известном эпилоге «Обыкновенной истории», изображающем прежнего романтика переродившимся в бюрократа с орденом и брюшком.

В чем же субъективное значение романа? На выяснении этого подробно останавливается один из наиболее внимательных исследователей Гончарова Е. А. Ляцкий, поставивший себе целью доказать, что Гончаров принадлежит к числу самых субъективных художников русской литературы. По мнению Ляцкого, «Обыкновенная история» — «скорее художественный мемуар, чем роман». Но к какому из двух героев «Обыкновенной истории» этот мемуар относится — вот вопрос, на который, прежде всего, надо ответить Е. А. Ляцкому. И он отвечает на него, веско доказывая, что биографии дяди и племянника — тождественны, что дядя и племянник одно и то же лицо. «Детство обоих проходит в одинаковых условиях; они получают одно и то же воспитание, учатся в университете и — каждый в свое время — одинаково относятся к науке, искусству и литературе, оба влюбляются по нескольку раз, сначала у себя на родине, в деревне, где оба плачут над озером, рвут желтые цветы, пишут в одинаковых выражениях влюбленные письма, потом в столице то очаровываются, то падают с небес, «беснуются, ревнуют», наконец остывают, становятся благоразумными и стараются забыть «глупости» молодых людей. В итоге у обоих — крупный чин, орден на шее, лысина, седина на висках и в бакенбардах, хорошее состояние, а главное одинаковое отношение к благам жизни, одно и то же миросозерцание, вкусы, привычки... даже боль в пояснице и манера выражаться и те, по духу ближайшей родственности, перешли от старшего к младшему. Одна и та же личность — в два разные момента». Установивши тождественность дяди и племянника, Е. А. Ляцкий рядом биографических ссылок пытается доказать, что оба они восходят к одному и тому же образцу, имя которого Иван Александрович Гончаров. Во многом почтенный исследователь прав и в этом случае; во многом, но не во всем. Стремление видеть повсюду автобиографические черты иной раз приводит его к явным

натяжкам, иной раз ведет к едва-ли допустимому игнорированию объективных источников романа. Вот тому разительный пример. Поездка Александра Адуева в деревню после нескольких лет службы в столице может найти себе параллель в поездке Гончарова на родину, через четырнадцать лет по окончании университетского курса — говорит Е. А. Ляцкий, забывая, что Гончаров ездил в деревню через три года после создания «Обыкновенной истории», и, разумеется, во время этой поездки, относящейся к 1849 г., по своему умонастроению очень мало походил на Александра Адуева, искавшего в бегстве на лоно природы утешения и успокоения после постигших его жизненных неудач и разочарований. Александр Адуев, покидая Петербург, так безжалостно разбивший его романтические мечты и грезы, не перестал быть романтиком, только из романтика прекраснодушного он сделался романтиком разочарованным. Вместе с громовыми проклятиями по адресу городских жителей и культуры, он не может удержаться от романтических декламаций в роде: «К вам простираю объятия, широкие поля, к вам, благодатные веси и пажити моей родины: примите меня в свое лоно, да оживу и воскресну душой». Невозможно себе и представить, чтобы трезвый и практический Гончаров конца 40-х гг., только что вбивший осиновый кол в могилу русского романтизма своим романом, мог произносить подобные тирады. А если же нет, то какое значение может иметь выдвигаемая Е. А. Ляцким параллель между поездками младшего Адуева и Гончарова на родину... Мы остановились на этом примере, чтобы показать, к каким ошибкам приводит иной раз нарочитое стремление вывести все творчество Гончарова из одного субъективного источника, и отнюдь, конечно, не для того, чтобы отрицать правильность взгляда, отводящего этому источнику одно из самых видных мест при анализе гончаровских творений. Нет никокого сомнения, что в жизни

автора «Обыкновенной истории» был как период крайнего увлечения романтизмом, давший ему не мало материала при создании образа Александра Адуева, так и период, охвативший чуть ли не все последнее пятидесятилетие жизни Гончарова, трезвого, ультра-практического и делового взгляда на жизнь, воплощением которого явилась положительная фигура Петра Ивановича Адуева.

Это, разумеется, не помешало Гончарову при создании образов и племянника и дяди, наряду с субъективным материалом, использовать и объективный материал, который могли дать внимательные и вдумчивые наблюдения над окружающей жизнью. Вот почему и Александр и Петр Иванович Адуевы не только субъективные образы, но и вполне объективные общественные типы. Если «Обыкновенную историю», не без некоторой натяжки можно назвать, как это делает Е. А. Ляцкий, «художественной автобиографией», то еще с большим правом заслуживает она названия «социального романа» в том смысле, в каком Белинский называл «первым русским социальным романом» «Евгения Онегина». Гончаров в своих авторских комментариях (в статье «Лучше поздно, чем никогда») подчеркивает гораздо решительнее объективный, т. е. общественный, а не субъективный, т. е. личный смысл романа. «В встрече мягкого, избалованного ленью и барством мечтателя-племянника с практическим дядей — читаем мы здесь — выразился намек на мотив, который едва только начал разыгрываться в самом бойком центре — в Петербурге. Мотив этот — слабое мерцание сознания необходимости т р у д а, настоящего нерутинного, а ж и в о г о д е л а, в борьбе с всероссийским застоем... Представитель этого мотива в обществе был дядя: он достиг значительного положения в службе, он директор, тайный советник и кроме того он сделался их заводчиком. Тогда от 20-х до 40-х гг. — это была смелая новизна, чуть не у н и ж е н и е. Тайные советники мало решались на это. Чин не позволял, а звание купца — не было лестно.

В борьбе дяди с племянником отразилась и тогдашняя, только что начинавшаяся ломка старых понятий и нравов — сентиментальности, карикатурнаго преувеличения чувств дружбы и любви, поэзия праздности, семейная и домашняя ложь напускных в сущности небывалых чувств (напр., любви с желтыми цветами старой девы тетки и т. п.). Пустая трата времени на визиты, на ненужное гостеприимство и т. д... Все это отживало, уходило; являлись слабые проблески новой зари, чего то трезвого, делового, нужного. Первое, т. е. старое исчерпалось в фигуре племянника — оттого он вышел рельефнее, яснее. Второе — т. е. трезвое сознание необходимости дела, труда, знания, выразилось в дяде — но это сознание только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полного развития — и понятно, что начала могли выразиться слабо, неполно, только кое-где, в отдельных лицах и маленьких группах, и фигура дяди вышла бледнее фигуры племянника».

Таким образом, Гончаров совершенно определенно заявляет, что его роман—это картина падения старого мировоззрения и нравов под натиском жизни, требовавшей труда и деловитости. Большая часть писавших об «Обыкновенной истории» видела в молодом Адуеве представителя поместного дворянства, барича-романтика, имевшего, благодаря даровому труду крепостных, полную возможность проводить свою жизнь в праздности и парить в эмпиреях романтических грез и фантазий. Автор новейшей работы о Гончарове («Печать и революция», 1923 год, № 1—2, ст. Переверзева) отстаиваем иную точку зрения, сущность которой сводится к утверждению, что не помещичья усадьба вскормила Адуева, а провинциальный город, в недрах которого протекала трезво-деловитая и раздольная жизнь дореформенной буржуазии. «Капитализм,—пишет В. Переверзев,—не отрицал устоев этой жизни: он еще открывал перед ней перспективы более пышного расцвета, большой полноты, разнообразия и значительности

жизни. Перед очарованным взором Адуевых капитализм развернул картину блестящей будущности: им предстояло занять господствующее положение в обществе, положение хозяев и строителей новой жизни, новой буржуазно-капиталистической культуры... Чтобы завоевать в новом порядке то блестящее положение, о котором он мечтает, чтобы сделать карьеру и фортуну, нужно было прежде всего опростать душу от элементов патриархальной идеологии, от патриархального невежества, нужно было выработать новую идеологию—идеологию буржуазно-капиталистическую. Словом, нужно было перевоспитаться, пережить трудный психологический процесс приспособления к новым условиям и к новой социальной роли». Петербург, «большой капиталистический город», является тем горнилом, где происходит это перевоспитание и приспособливание. «Советы дядюшки, наблюдения, личный опыт—все диктует Адуеву один вывод: необходимо строить буржуазно-демократическое хозяйство и государство, необходимо принять участие в этом строительстве, чтобы пополнить жизнь большим содержанием, сделать ее более культурной, чем было в Грачах». «В Петербурге заканчивается перевоспитание Адуева из буржуа патриархального в буржуа капиталистического. Петербург производит огромную разрушительную и созидательную работу в психике Адуева. Могучий дух капиталистического города, носясь над хаосом его психики, произносит творческое «да будет свет»,—и становится свет. Он отделяет буржуазную твердь от хляби напускного романтизма, выводит его из невылазных хлябей псевдоромантизма на торную дорогу сознательного романтизма. Петербург выпрямляет душу Адуева, очищает ее от остатков Грачевского патриархализма и от поверхностного романтического налета, приводит в ясность новый буржуазный идеал и указывает пути к нему. Естественно, что процесс этого выскабливания и выравнивания души принял характер болезненной операции. Через горнило неудач и разочарований

прошел Адуев, прежде чем попал на стезю органического буржуазного идеала, приспособился идеологически к новым условиям буржуазного существования».

Таким образом, с точки зрения В. Переверзева, «Обыкновенная история» является в полном смысле этого слова социальным, не лишенным даже оттенка злободневности романом, ибо в нем нашел себе яркое отражение тот для России 40-х годов очень характерный процесс, который можно формулировать словами: «перевоспитание патриархальной буржуазии в буржуазно-капиталистическую». Правда, точка зрения В. Переверзева противоречит не только мнениям большинства критиков, привыкших рассматривать Александра Адуева, как представителя помещичьего класса, а, что гораздо важнее, определенным указаниям текста романа, позволяющим утверждать, что герой «Обыкновенной истории» был владельцем небогатого поместья «Грачи», собственником некоторого количества крепостных душ и свои юные годы провел в деревне. Но, с другой стороны, очень трудно оспаривать основательность соображений В. Переверзева, доказывающего, что в жизненном обиходе, воспитании, впечатлениях детства Адуева очень слабо выражены специфически дворянские, барские элементы, и весьма явственно проглядывают элементы буржуазности, демократичности. «Сбирая одну за другой черты Грачевского быта, — пишет В. Переверзев, — приходишь к заключению, что Адуевы не являются членами привилегированного дворянского класса: это... семья демократического происхождения. Они домовладельцы, но не землевладельцы, какими были люди поместной среды; они владеют крепостными слугами, но не владеют крестьянами; они—дети провинциального города, а не крепостной деревни. Словом, владение Адуевых «Грачи»—это большая городская усадьба зажиточной мещанской или купеческой семьи, обслуживаемая крепостной прислугой, но не поместье дворянского типа». Иными словами, изображая социальную среду, породив-

шую и вскормившую Адуева, Гончаров изображает социальную среду своих собственных детства и юности; Адуевские «Грачи» не что иное, как гончаровская усадьба в Симбирске. Этот вывод, совпадающий в сущности с тем, что говорит о субъективности гончаровского творчества Е. А. Ляцкий, едва ли может в основе своей быть оспариваем. Но даже, если считать для себя обязательным толковать социальное происхождение Адуева в строгом согласии с текстом романа, то и это, в сущности, не столь уже противоречит основному тезису В. Переверзева, вполне разделяемому и автором этих строк; роман изображает крушение патриархальной русской общественной жизни и переход широких социальных классов к буржуазной идеологии. Точно ли так велико различие между психикой обывателей «Грачей», «небогатой» дворянской усадьбы в деревне, и психикой обитателей купеческой усадьбы в захолустном, проникнутом к тому же дворянскими традициями провинциальном городе? Петербург, «большой капиталистический центр», равным образом притягивал, открывая возможность сделать «и карьеру и фортуну», Адуевых разнородного социального происхождения и перемалывал их, этих патриархальных буржуа, или же полупомещиков-полубуржуа, в людей, усвоивших себе идеологию с неудержимою силой грядущего капиталистического строя. Умирает патриархальная Русь, патриархально-буржуазная, патриархально-помещичья,—будущее принадлежит Руси капиталистической, говорил Гончаров всем содержанием своего романа: не только, конечно, рассказом об «обыкновенной истории», случившейся с Александром Адуевым и превратившей его в буржуа капиталистической складки, но и образом старшего Адуева. Чиновник и фабрикант, он, разумеется, ни к чему другому, кроме собственных выгод, не стремится, да и не может стремиться. Его идеалистически настроенную жену одолевают мучительные размышления о том, «что было главною целью его трудов? Трудился ли он для общей человеческой

цели, исполняя заданный ему судьбою урок, или только для мелочных причин, чтобы приобрести между людьми чиновное или денежное значение? Бог его знает»... Для нас тут никакого вопроса нет. Адуевы, разумеется, еще не выработали сознательного идеала будущего социального порядка. Не отрицая, например, сознанием крепостного права, будучи даже не прочь «посечь фабричных», т. е. закрепощенных фабрике рабочих, «если задурят», они все же отрицают крепостной уклад практически, так как строят свою личную жизнь на деньгах и личной энергии, а не на даровом труде крепостных. «Они не слагают в сознании нового порядка, но зато слагают его своей деятельностью, открывая своей борьбой за карьеру и фортуну эру капиталистической погони за наживой» (В. Переверзев). Все это, разумеется, так, но, тем не менее, окружающая старшего Адуева атмосфера деловитости, тонкого эгоизма, благоразумной расчетливости — тяжелая и душная атмосфера. Это Гончаров показал на примере его жены: она, огражденная мужем от жизненных волнений и забот, и лишенная в то же время какого-либо дела («она не служила, не играла в карты... у ней не было завода... отличный стол и лучшее вино не имели цены в ее глазах»), буквально увяла и телом и душой. Полная апатия, ленивое равнодушие решительно ко всему сделались постоянным состоянием когда-то пылкой и увлекающейся женщины. И напрасно Петр Иванович не спит ночей и обливается холодным потом, задумываясь о том, что делать ему с женой, напрасно он решается на такой героический шаг, как выход в отставку накануне получения нового чина, и поездка в Италию—ничто не может вернуть прошлое, заставить зазвучать в душе Лизаветы Александровны порванные струны. «Она убита» бесцветной и пустой жизнью, и в этих словах заключается, быть может, не вполне сознательное, но все же достаточно яркое указание на то, что в основе жизненного уклада и психики провозвестников приближавшегося царствия

капитализма лежит какое-то растлевающее начало, в значительной степени исключающее возможность трудового содружества даже в узкой сфере семейной жизни. Жена для Адуева—не товарищ, не соработница, а одно из условий домашнего комфорта. Не всякая человеческая личность способна быть объектом чужого стремления к комфорту. К числу таких неспособных, очевидно, принадлежала и Лизавета Александровна; в этом и заключается объяснение ее увядания и недалекой гибели. Однако, основываясь на приведенном, не забудем, единичном примере, было бы, по меньшей мере, неосторожно выводить заключение о том, что Гончаров чувствовал всю фальшь капиталистических устоев человеческого общежития. Совсем наоборот. Гончаров на протяжении всего романа остается идеологом буржуазии, и в этом его несомненная и большая заслуга, ибо капитализм, являясь неизбежной стадией в экономическом развитии страны, нес за собой новые, по сравнению с прежними, более совершенные, более прогрессивные формы и общественной, и хозяйственной, и политической жизни. Весьма характерно, что Гончаров изобразил старшего Адуева не только капиталистом-заводчиком, но и крупным бюрократом, тем самым как бы подчеркивая неизбежность, в условиях российской действительности известного контакта между представителями капитала и бюрократией. Совмещение капиталистических и бюрократических элементов находим также в социальном облике Александра Адуева, как он изображен в «Эпилоге».

Нам осталось сказать несколько слов о художественной стороне «Обыкновенной истории» *). Сравнивая этот роман с литературным дебютом Гончарова, с повестью «Счастливая ошибка», приходится прямо-таки удивляться, как далеко шаг-

*) Спешим оговориться, что анализ поэтического наследия Гончарова с художественной стороны будет дан нами в последней главе нашей работы, здесь же мы ограничиваемся лишь несколькими замечаниями общего характера.

нул художественный талант автора в промежуток времени, отделяющий оба эти его произведения. Тогда как «Счастливая ошибка» в художественном отношении является произведением малозначительным, и нам пришлось говорить об ней, главным образом, потому, что она представляет как бы эскиз к последующим творениям Гончарова, «Обыкновенную историю» нельзя не признать выдающимся художественным произведением. Великолепен, прежде всего, язык, «чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся» (слова Белинского). В совершенстве владея языком, Гончаров достиг того, чего не всегда достигают даже выдающиеся художники слова: его рассказ «в этом отношении не печатная книга, а живая импровизация» (Белинский). Даже в разговорах между дядюшкой и племянником, когда так «легко было сбиться на тон резонера», Гончаров избежал этой опасности: в этих разговорах «нет ничего отвлеченного, не идущего к делу; это—не диспуты, а живые, страстные, драматические споры, где каждое действующее лицо выказывает себя как человека и характер».

Мастерскому владению сокровищами родного языка соответствует мастерство в изображении действующих лиц. Особенно хороши женские персонажи романа: и старуха мать Адуева, «добрая внучка злой госпожи Простаковой», и ключница Аграфена, скрывающая под внешней грубостью способность к нежным чувствам, и ветреная, своенравная, немножко лукавая пассия Адуева Наденька, и мечтательная, сентиментальная, с расстроенными нервами вдова Тафаева, и спокойная, но пожираемая внутренним огнем Лиза, последнее увлечение Александра—все они, несмотря на их психическое разнообразие обрисованы одинаково уверенной и правдивой кистью. Художественны, а вместе с тем, реальны и правдивы образы главных героев романа. Но если «Петр Иванович был выдержан до конца с удивительной верностью», то этого, к сожалению, нельзя сказать об его племяннике.

Мы решительно не согласны с Белинским, поскольку он утверждает, что подобные ему «романтики никогда не делаются положительными людьми», и что, поэтому, Александр Адуев в эпилоге «лицо вовсе фальшивое, неестественное», но не можем не признать, что перерождение Александра Адуева, в котором и заключается сущность социальной стороны романа, вполне обоснованное с точки зрения социально-экономических факторов, не обосновано психологически, иными словами, Гончаров, показавший, как петербургская жизнь беспощадно ломает идеологию патриархального с романтическим налетом буржуа, не показал в образах, как совершилось его приобщение к новой идеологии. Мы знакомимся, читая роман с тремя Александрами: с Александром-романтиком прекраснодушным, каким он был в родной семье и в первое время своего пребывания в Петербурге, затем с Александром, превратившимся под влиянием петербургских неудач в романтика разочарованного и, по примеру других романтиков, вздумавшим спасаться на лоно природы и, наконец, с Александром эпилога, типичным буржуа-бюрократом, женихом дочери откупщика, почти овладевшим «карьерой и фортуной». Между вторым и третьим Александром нет посредствующего звена, а оно, несомненно, в интересах художественной и психологической правды, должно было бы быть. Письмо Александра к тетке, написанное через несколько лет после его возвращения в деревню, как будто бы свидетельствует о некотором переломе в его миросозерцании, но этот перелом не имеет ничего общего с тем, который с такою ясностью обнаруживается в эпилоге. Тетка, вздыхая о прежнем Александре, говорит ему: «помните, какое письмо вы написали ко мне из деревни. Как вы хороши были там... Там вы поняли, растолковали себе жизнь; там вы были прекрасны, благородны, умны... Зачем не остались такими? Зачем это было только на словах, на бумаге, а не на деле? Это прекрасное мелькнуло, как солнце из-за туч — на одну

минуту»... Отсюда видно, что превращению нашего романтика в бюрократа-буржуа предшествовали еще какие-то стадии в его духовном развитии, но какие—этого Гончаров нам не показал, что не могло, конечно, не отразиться на художественной целостности образа Александра Адуева.

V

Гончаров и Белинский. Кругосветное путешествие. «Фрегат Паллада». Картины природы и жанровая живопись в этом произведении. Отражение личности и взглядов автора.

Шумный успех, сопровождавший появление «Обыкновенной истории» в печати, упрочил положение Гончарова в литературных кругах того времени. Участились и встречи с Белинским, очень сочувственно отнесшимся к роману, который сделался ему известен еще в 1846 г., до появления на страницах «Современника». Известно, какое огромное влияние на направление литературной деятельности целого ряда писателей, в том числе таких крупных, как, например, Тургенев и Некрасов, оказали отзывы Белинского об их произведениях и еще более того личное общение неистового Виссариона с ними. Подобным образом влиять на Гончарова Белинский, разумеется, не мог и потому, что личное знакомство их было очень непродолжительным, и потому, что Гончарову к моменту его встречи с Белинским было свыше 34 лет, и он был уже, в значительной степени, не только сложившимся человеком, но и сложившимся писателем. В соответствии с этим в воспоминаниях Гончарова о Белинском мы напрасно стали бы искать сколько-нибудь конкретных указаний на то, что Белинский влиял на него в определенном направлении. «Меж ними все рождало споры», но эти споры принимали довольно своеобразный характер. «Я не раз спорил с ним,—эпически повествует Гончаров в «Заметках

о личности Белинского»,—но не горячо (чтобы не волновать его), а скорее равнодушно, чтобы только вызвать его высказаться, — и равнодушно же уступал. Без этого спор бы никогда не кончился, или перешел бы в задор, на который, конечно, никто из знавших его никогда умышленно бы не вызвал». В том же источнике приведены образчики некоторых из этих споров. Романист и критик как-то заспорили о героине Жорж Занд Лукреции Флориани, при чем романист утверждал, что нельзя признавать, подобно Белинскому, «богиней» женщину, которая настолько не владеет собой, что переходит из рук в руки пятерых любовников и т. д. Критик жестоко напал на своего собеседника. «Вы немец, филистер, а немцы, ведь это семинаристы человечества. Вы хотите, чтобы Лукреция Флориани, эта страстная женственная фигура, превратилась в чиновницу!» — говорил он ему. В другой раз Белинский задал «гонку» Гончарову за его лень и равнодушие, выразившиеся в том, что Гончаров не прочел сенсационного для того времени романа Жорж Занд «Теверино». Иногда он накидывался на Гончарова за то, что у него не было злости, раздражения субъективности к объектам его художественного творчества. «Вам все равно, попадется мерзавец, дурак, уродилась порядочная, добрая натура,—всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни к кому! — И это скажет (и не раз говорил) с какою то доброю злостью, а однажды положил ласково после этого мне руки на плечи и прибавил почти шопотом: — А это и хорошо, это и нужно, это признак художника! — как будто боялся, что его услышат и обвинят за сочувствие «к бестенденциозному писателю»...

Бывали случаи, когда Гончаров слегка «дразнил» Белинского: то явится к нему, между визитами по начальству, в форменном фраке и белом галстуке, «зная, как он восставал против всяких поклонений и поклонов», то заденет его замечанием о том, что был бы рад, если бы он через

пять лет повторил хоть десятую часть своих похвал по адресу «Обыкновенной истории», иными словами, что Белинский очень непостоянен в своих литературных взглядах и оценках.

И все же, констатируя, что при подобном характере отношений Белинского и Гончарова, первый не мог особенно сильно влиять на второго, трудно допустить, чтобы споры и разговоры, вроде вышеприведенных, прошли совершенно бесследно для Гончарова. Не могло, разумеется, пройти бесследно для неуверенного в своих силах, жадно ловившего не только в начале своей литературной деятельности, но и в конце ее всякие критические замечания по поводу своих произведений писателя то, что Белинский «осыпал его добрыми ласковыми словами», «рисуя свой критический взгляд на него и заглядывая в его будущее». Трудно сомневаться что кое-что в этом «критическом взгляде» Белинского на Гончарова послужило этому последнему для уяснения особенностей его художественного дарования. Так, например, мнение Белинского о художническом спокойствии Гончарова («нет злости...»), повторенное с некоторыми вариациями в статье его об «Обыкновенной истории». («Он поэт, художник, и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят... Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены, прежде всего, для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать»)... было вполне усвоено Гончаровым и нашло себе яркое отражение в авторской исповеди Гончарова — статье «Лучше поздно, чем никогда».

Затем, думается, некоторое влияние должны были иметь на Гончарова и политические взгляды Белинского, которые к концу жизни великого критика, приобрели особенно радикальный характер. «Возьмет текущую новость,—припоминает Гончаров в своих «Заметках», — крутую административную

меру, — и польются потоки речей, полные тонкого анализа, метких определений, горячих осуждений. Особенно цензура подавала пищу его словесной критике». Для Гончарова, привыкшего вращаться до того времени в чиновничьей среде, в массе своей настроенной охранительно в духе идей, проповедуемых Булгариным и его «Северной Пчелой», или в аполитичном кружке Майковых, многие из этих речей Белинского должны были являться чуть ли не откровением. Это отнюдь не значит, чтобы «благонамеренный» столоначальник департамента внешней торговли всецело поддавался их обаянию, но кое что, надо думать, все же западало в его голову. В письме Гончарова к сестре и ее мужу, от 17 декабря 1849 г., встречаем отзыв о Булгарине и его органе, вполне выдержанный в тоне суждений о нем, обычных в кружке Белинского и его друзей. Заговорив о статуэтке Булгарина, купленной им для Кирмалова и уже высланной ему, Гончаров продолжает: «Булгарина вышла тоже другая статуэтка: старая свинья разворчалась за свое безобразие, как будто художник виноват, и начала блевать на него хулу из своего подлого болота—«Северной Пчелы», что де и все труды художника никуда не годятся, да и дорого то он продает и т. п. Художник переделал его, и он тотчас же начал толковать, что художник очень хороший и статуэтки продаются как нельзя дешевле. Фу, ты мерзавец какой! А ты его в поэты произвел! Эк махнул! Булгарин поэт! Сказал бы ты здесь это хоть на улице, то-то бы хохоту было»... и т. д.

Отзыв Гончарова о Булгарине, совпадающий с мнением об этом писателе Белинского, конечно,—не более, как частность. Но дело не ограничивалось, поскольку речь идет о влиянии Белинского на Гончарова, одними только частностями. Речи Белинского, несомненно, фиксировали внимание Гончарова на крепостном праве, и кто знает, не имеет ли Гончаров в виду самого себя, когда говорит в своих «За-

метках о личности Белинского»: «беллетристы, изображавшие в повестях и очерках черты крепостного права, были, конечно, этим своим направлением более всего обязаны его горячей—и словесной и печатной проповеди». Не надо прибегать к каким либо натяжкам, чтобы доказать, что «черты крепостного права» в его непосредственном влиянии на жизнь барских усадьб отразились в «Сне Обломова», напечатанном в 1849 г., т. е. тогда, когда впечатление от личного общения с Белинским было еще вполне свежо.

И не чувствуется ли отголосок страстных проповедей Белинского о «гуманитете», т. е. сочувственном и проникновенном отношении к падшим людям и вообще к жизни в том, что с такою горячностью высказал Илья Ильич Обломов пришедшему его навестить литератору реально-обличительного направления Пенкину. «Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, «воспламенившись», совершенно в духе Белинского,—говорил Обломов, своему собеседнику,—да и человека тут же не забудь. Где же человечность то? Вы одной головой хотите писать. Вы думаете, что для мысли не надо сердца. Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним как с собой»... и т. д.

Таким образом, не имея объективных данных, чтобы говорить о силе и значительности влияния Белинского на Гончарова, мы вправе утверждать, что оно все же имело место, уяснив ему кое-что в области вопросов, связанных с особенностями его художественного дарования, и усилив струю либерализма и гуманности в его слагавшемся под влиянием косной чиновничьей среды общественном миросозерцании. А главное, знакомство с Белинским ввело в его жизненный обиход общение с тем кружком, в который входили «сливки» тогдашней интеллигенции. Но «своим» человеком в этом

кружке Гончаров все-таки не стал: если, с одной стороны, его психика деловитого чиновника из купцов во многом была чужда психике представителей лучшей дворянской интеллигенции, в роде Тургенева, то с другой стороны, далеко не всегда у него мог найтись общий язык с пламеневшим великой любовью и великой ненавистью, не знавшим благоразумной середины в своих убеждениях разночинцем и литературным пролетарием Белинским. И несколько противореча тому, что писал Гончаров о расположении к себе Белинского, этот последний, под впечатлением знакомства с ним в письме к В. П. Боткину от 4 марта 1847 г. аттестовал его, как человека «пошлого», но «взрослого, совершеннолетнего». «Взрослый, совершеннолетний», на языке Белинского это значило зрелый, сложившийся, т. е. такой, на которого можно влиять только в очень относительной степени.

Начавшейся в конце 40-х гг. работе Гончарова над «Обломовым» не суждено было скоро закончиться. Эта работа была прервана кругосветным путешествием Гончарова. Из путевых заметок, которые он в годы путешествия набрасывал в тетрадь, «не зная, пригодится ли на что-нибудь» (из письма к М. А. Языкову от 15/27 декабря 1853 г.) впоследствии составились два тома «Фрегата Паллады».

«Фрегат Паллада»—произведение во многих отношениях замечательное, и на нем нельзя не остановиться хотя бы вкратце. Было бы, конечно, совершенно неправильно предъявлять к нему требования, какие были бы уместны в отношении путешествия, написанного с научными целями. По словам самого Гончарова, он «не имел ни возможности, ни намерения описывать свое путешествие, как записной турист или моряк, еще менее, как ученый... Он писал только беглые заметки о виденном или входил в подробности больше о самом себе, занимательные для приятелей и утомительные для посторонних людей»... Тем не менее «Фрегат Паллада» дает огромное количество сведений и географического, и этногра-

фического, и естественно-исторического, и исторического характера, не мало способствуя благодаря этому популяризации научных знаний и представляя незаменимый материал для чтения, поскольку оно преследует образовательные цели. Пусть Гончаров вовсе не думал, составляя свои заметки, о том, чтобы популяризировать знания, но все же, как автор «Фрегата Паллады», он существенным образом послужил делу такой популяризации. Тем более послужил, что его путешествие является одним из самых художественных по форме и изложению, какие только знает история мировой литературы, а художественность изложения очень важный пособник популяризации. Для нас, в виду специальных целей нашей работы, «Фрегат Паллада» представляет интерес именно, как художественное произведение. С этой точки зрения и попробуем подойти к нему.

Прежде всего, каковы источники этого произведения? В критической литературе, напр., в статье Дудышкина, выяснено, что Гончаров менее всего прибегал к помощи книжного, литературного материала, хотя путешествия чуть ли не детства составляли его любимое чтение. Описывая «виденное», он должен, главным образом, пользоваться тем источником, имя которому наблюдение. Поразительная зоркость взгляда, редкое умение, наряду с мелочами, подмечать основное и существенное были здесь его незаменимыми союзниками. Если принять во внимание, что Гончаров путешествовал не как турист, а как чиновник, несущий ряд определенных обязанностей и связанный с местом своей службы, т.-е. с фрегатом, если учесть, с другой стороны, что фрегат имел определенный маршрут, с которым сообразовался в своих стоянках, и что после прибытия к месту назначения — в Японию — на Гончарове, как и на других пассажирах фрегата в течение нескольких месяцев тяготел запрет высаживаться на берег, то приходится только удивляться, сколько он успел увидеть, наблюсти и какое количество впечатлений

творчески переработать в своем художническом сознании. Но, кроме отмеченного объективного, Гончарову не мало послужил при создании «Фрегата Паллады» и субъективный источник. Автор, быть может, бессознательно, отразил в своем произведении свой духовный облик, главным образом темперамент, вкусы, привычки, отчасти мировоззрение. В этом отношении «Фрегат Паллада» имеет даже преимущественное значение в ряду других произведений Гончарова, и прав Венгеров, когда в своей работе о Гончарове («Собр. Соч.», 1911 г., т. V) говорит: «бесспорно лучшим источником для изучения темперамента нашего писателя может нам послужить «Фрегат Паллада»—книга, являющаяся дневником душевной жизни Гончарова за целых два года, при том проведенных при наименее будничной обстановке». Хотя, как только что было указано, объективный источник — наблюдения над окружающими природой и жизнью—лежит в основе «Фрегата Паллады», но сплошь да рядом в гончаровской переработке объективнейший материал обволакивается густою дымкою субъективности.

Вникая в содержание «Фрегата Паллады», нельзя пройти без внимания тех превосходных описаний природы, которыми пестрят страницы этого произведения. Здесь не лишним будет отметить, что Гончаров довольно таки скуп на описание природы в своих романах. Несмотря на объемистость этих последних, описаний природы в них раз-два, да и обчелся. В «Обыкновенной истории»—описание летней грозы в селе Грачах, еще летней ночи в Петербурге; в «Обломове» — описание наступления тихой летней ночи, как постепенно гаснет свет, замолкают птицы и насекомые, и отдельные предметы сливаются в одну темную массу, при всеобщем торжественном замирании природы; в «Обрыве» — почти ничего, разве только скупой набросок некоторых описательных черт, при изображении сада, который принадлежит к усадьбе Райского. Вот почему в ряду образчиков

пейзажной живописи, принадлежащих кисти Гончарова, описания природы из «Фрегата Паллады» имеют большое значение. Их тоже не так много, но некоторых из них нельзя не отнести к шедеврам гончаровского творчества. Так, например, картина заката солнца и наступления ночи под экватором (конец главы «Плавание в атлантических тропиках») возвышается «до истинно ослепительной красоты» (Венгеров). Хороши также картины южной ночи (в гл. «Сингапур»), идиллических Ликейских островов (в гл. «Ликейские острова»), томящей и знойной природы Маниллы (в гл. «Манилла») и т. д. Сколько здесь красоты, но красоты спокойной и торжественной, «для описания которой автор не должен покидать своего эпического спокойствия, не должен выходить за границы ровного, безмятежного, беспечального существования». Иными словами, восхищаясь южной природой, как эстет, как художник, Гончаров остается несколько холоден, как человек.

И очень часто, отвлекаясь от великолепного зрелища, расстилающегося перед его глазами, он силою своего воображения рисует иные картины, картины серенькой, будничной, но невыразимо для него, именно как для человека, милой родной природы. В оправдание этого своего внутреннего холодка, без сомнения, им ощущаемого, Гончаров иной раз начинает рассуждать на тему: «Разве есть что-нибудь не прекрасное в природе?.. Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики: рисуйте небо, звезды, где его увидите, рисуйте с торцовой мостовой Невского проспекта» и т. д. Более того, иногда впадая в противоречие со своими же блестящими описаниями тропических красот, автор договаривается до явных абсурдов: «Хорошо (в тропиках), только ничего особенного: так же, как и у нас, в хороший летний день»... «Нутряная», органическая привязанность к родным палестинам заставляет здесь Гончарова быть явно пристрастным к родному «чухонскому

пейзажу». Это, конечно, происходит от того, что Гончаров, по временам, мучительно скучал без этого пейзажа, и психологически совершенно понятно, потому чудесные описания Маниллы перемежаются с расхолаживающими и самого автора и тем более читателя признаниями: «И при всем том ни за что не остался бы я жить среди этой природы», или: «И все-таки не останешься жить в Манилле, все захочешь на Север, пусть там, кроме снега, не приснится ничего! Не нашим нервам выносить эти жаркие ласки и могучие излияния сил здешней природы».

Быть может, «нашими нервами», а вернее особенностями организации нервной системы самого Гончарова объясняется столь явственно сказавшаяся уже в «Обыкновенной истории» нелюбовь его ко всему, совмещающемуся в понятие романтизм. Не менее ярко эта нелюбовь проявляется в его отношении к некоторым сторонам южной природы, в особенности к морю, дающему такую обильную пищу для всяческого романтизма. Чрезвычайно характерно в этом отношении, как Гончаров изображает свои первые впечатления от Атлантического океана.

«Я целое утро не сходил с юта. Мне хотелось познакомиться с океаном. Я уже от поэтов знал, что он «безбрежен, мрачен, угрюм, беспределен, неизмерим и неукротим», а учитель географии сказал некогда, что он просто Атлантический. Теперь я жадно вглядывался в его физиономию, как вглядываются в человека, которого знали по портрету. Мне хотелось поверить портрет с подлинными чертами лежавшего передо мной великана, во власть которого я отдавался на долгое время. Какой же он в самом деле?—думал я, поглядывая кругом. Что таится в этом неизмеренном омуте? Чем океан угостит пловцов? — Он был покоен: по нем едва шевелились легкими рядами волны, как будто ряды тихих мыслей, пробегающих по лицу; страсти и порывы молчали. Попутный ветер и умеренное волнение так ласково

манили дальше, а там...—Где же он неукротим?» — думал я опять:—на старческом лице ни одной морщинки! Необозрим он, правда: зришь его не больше как миль на шесть вокруг, а там спускается на него горизонт в виде довольно грязной занавески. Поверхность шара и на этом пространстве образует дугу, закрывающую даль.—Могуч, мрачен, гм! — посмотрим,—и, оглядев море справа, я оборотился налево и устремил взгляд прямо в физиономию... Фадеева. Он стоял передо мной с фуражкой в руке. — Что ты? — Поди, ваше благородие, обедать, я давно зову тебя, да не слышишь.— Я тем охотнее принял это приглашение, что наверху было холодно. Северный ветер дышал такой прохладой, что в байковом пальто от него трудно было спрятаться»...

А несколько позднее, вновь неблагосклонно взглянув на океан по пути в общую каюту, к эпитетам, данным ему поэтами «могуч, мрачен» и т. д., Гончаров присоединил Фадеевский: «сердитый» и свои собственные: «соленый, скучный, безобразный и однообразный».

Так как среди эпитетов, данных поэтами, фигурируют, главным образом, Пушкинские из стих. «К морю», то в данном случае мы должны констатировать некоторое посягательство Гончарова на авторитет любимого поэта, чуть ли не пародированье его.

В другом месте нелюбовь Гончарова к романтическому в природе сказалась еще ярче. Когда «Паллада» шла Индейским океаном, над ней разразился ураган «во всей форме». Спутники, естественно полагавшие, что Гончаров захочет описать такое, хотя и грозное, но вместе с тем величественное явление природы, звали его на палубу. Но, комфортабельно усевшись в одно из немногих покойных мест в каюте, он не хотел даже смотреть бурю и почти насильно был вытащен наверх.

«Какова картина?»—спросил его капитан, ожидая восторгов и восклицаний.

«Безобразие, беспорядок!»—отвечал он, главным образом занятый тем, что должен был уйти весь мокрый в каюту, переменить обувь и платье.

Как это характерно для автора «Обыкновенной истории», и как бесконечно далеко от Лермонтовского:

А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой...

Но, повторяем, несмотря на отмеченный субъективный привкус в отношении Гончарова к южной природе, его художественные достижения в ее описаниях очень велики.

Несравненно более места во «Фрегате Палладе» уделено жанровым сценам, и жанровая живопись, бесспорно, является основным родом художественного творчества в этом произведении. Классический пример неудержимого и непреоборимого тяготенья автора в сторону жанра дает рассказ о пребывании Гончарова в Лондоне. Попав в Лондон в день замечательных похорон герцога Велингтона, взбудораживших всю Англию, он, нетерпеливо ждал другого дня, когда Лондон выйдет из ненормального положения и заживет своей обычной жизнью. «Многие обрадовались бы видеть такой необычайный случай, — замечает по этому поводу Гончаров, — но мне улыбался завтрашний будничний день». Точно также, «довольно равнодушно» наш путешественник «пошел вслед за другими в британский музеум, по сознанию только необходимости видеть это колоссальное собрание редкостей и предметов знания». Но его неудержимо «тянуло все на улицу». «С неиспытанным наслаждением — рассказывает далее Гончаров — я вглядывался во все, заходил в магазины, заглядывал в дома, уходил в предместья, на рынке смотрел на всю толпу и на каждого встречного отдельно. Чем смотреть на сфинксы и обелиски, мне лучше нравится постоять целый час на перекрестке и смотреть, как встретятся два англичанина, сначала попробуют оторвать друг

у друга руку, потом осведомятся взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия; с любопытством смотрю, как столкнутся две кухарки, с корзинами на плечах, как несется нескончаемая двойная тройная цепь экипажей, подобно реке, как из нее с неподражаемой ловкостью вывернется один экипаж и сольется с другой нитью, или как вся эта цепь мгновенно онемеет, лишь только полисмен с тротуара поднимет руку. В тавернах, в театрах — везде пристально смотрю, как и что делают, как веселятся, едят и пьют».

Жанровых сцен во «Фрегате Палладе» такое множество, жанровых типов, принадлежащих ко всевозможным расам и национальностям, зарисовано автором такое бесконечное количество, что выявление жанровых элементов в содержании Гончаровского путешествия потребовало бы специального и довольно таки обширного исследования. Не задаваясь целями такого исследования, отметим, что Гончаров, в качестве художника-жанриста, обнаружил изумительную способность к красочному и в то же время в высшей степени жизненному и реальному рисунку. Неподражаем также тонкий юмор писателя, которым овеян, например, его рассказ о представлении участников экспедиции японским властям, да и вообще его впечатления от японцев.

Характерно, что и жанровые сценки «Фрегата Паллады» далеко не сплошь имеют своим объектом жизнь, нравы и типы «заморских краев». Нет-нет, и мысль Гончарова возвратится на тихий Север и тогда из под его пера один за другими появляются образы и картины родного быта. «Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее!» — откровенно сознается сам Гончаров, и эти слова можно понимать не только в переносном, но и в буквальном смысле. По крайней мере, знаменитый «силуэт англичанина и русского»

(конец I-й гл. I-го т.) рисует подлинную Обломовку и подлинного Обломова, и может быть назван эскизом к роману «Обломов» еще в большей степени, в какой повесть «Счастливая ошибка» мы назвали эскизом к «Обыкновенной истории». Число подобных «возвратов на родину», если позволительно так выразиться, можно было бы значительно увеличить, но в дальнейшем мы ограничимся лишь несколькими наиболее яркими примерами.

Усилившаяся качка рождает в душе автора воспоминание о сухопутных путешествиях по родным русским палестинам. «Едешь, не торопясь, без сроку, по своей надобности, с хорошими спутниками. Качки нет; хотя и тряско, но то не беда! Колокольчик заглушает ветер. В холодную ночь спрячешься в экипаже, утонешь в перины, закроешься одеялом и знать ничего не хочешь. Потом станция, чай, легкая утренняя дрожь, теньеровские картины, там опять живая и разнообразная декорация лесов, пашен, дальних сел и деревень, пекущее солнце, оводы, недолгий жар и снова станция, обед, приветливые лица за двугривенные, после сон, наконец знакомый шлагбаум, знакомый дом, а там она или он, или оно... Ах, где вы, милые, знакомые явления? А здесь что такое? одной рукой пишу, другой держусь за переборку, бюро лезет на меня, я лезу на стену. До свиданья!».

Плавание в крошечной шкуне, шкипер которой вызвался подвезти Гончарова и нескольких сослуживцев его по фрегату к Шанхаю, плавание, сопряженное с большими неудобствами, в частности в отношении еды, вызывает мысль о так называемых «пикниках». «Кому не случалось обедать на траве за городом или в дороге! Помните как из кулечков, корзин и коробок вынимались ножи, вилки, хлеб, жареные индейки, пироги, картина известная: от торта пахнет жареной телятиной, от чаю сыром, не исключая и толстой синей бумаги, в которую завертывают пироги и жаркое. Мне даже показалось, что тут подали те же три стакана и две рюмки,

которые я будто уж видал в подобных случаях. Вилка тоже с переломленным средним зубцом подозрительна: она махнула сюда откуда-нибудь из под Москвы или из Нижнего. Вот соль в бумажке; есть у нас ветчина да горчицу забыли. Вообще тут, кажется, отрешаются от всяких правил, наблюдаемых в другое время»...

В другом месте судно, ставшее на мель наводит Гончарова на сравнение положения его пассажиров с положением человека, у которого экипаж сломался посреди грязи. «Карета передниками упирается в грязь, извозчики равнодушно глядят на колесо, мимо несчастного героя скачут и мелькают другие господа в экипажах. Иной смотрит с любопытством, большая часть — очень равнодушно, а все обгоняют». Нет надобности доказывать, что не японская жизнь и не вид китайских берегов навеяли автору эту бытовую картину.

Говоря о жанровых сценах и образах «Фрегата Паллады», нельзя не отметить, что в них сказался также дух времени, дух буржуазного, капиталистического века, который, как мы видели, пропитал собою и «Обыкновенную историю».

И не является ли своего рода торжественным гимном в честь современного «хозяина исторической сцены» — буржуа, капиталиста, хотя бы эта страничка из «Фрегата Паллады»?

«И поэзия изменила свою священную красоту. Музы не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. И какой это образ! Не блистающий красотою, с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках. Но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду, и я видел его в Англии—на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Все изящество образа этого, с синими глазами, блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко-выбритом подбородке

и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах. Я писал вам, как мы, гонимые бурным ветром, дрожа от северного холода, пробежали мимо берегов Европы, как в первый раз пал на нас у подошвы гор Мадеры ласковый луч солнца. Радостно вскочили мы на цветущий берег, под олеандры. Я сделал шаг и остановился в недоумении, огорчении: как, и под этим небом, среди ярко блестящих красок моря зелени... стояли три знакомые образа, в черном платье, в круглых шляпах! Они, опираясь на зонтики, повелительно смотрели своими синими глазами на море, на корабли и на воздымавшуюся над их головами и поросшую виноградниками гору. Я шел по горе; под портиками между фестонами виноградной зелени, мелькал тот же образ; холодным и строгим взглядом следил он, как толпы смирных жителей юга добывали, обливаясь потом, драгоценный сок своей почвы, как катили бочки к берегу и усылали в даль, получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли. В океане, в мгновенных встречах, тот же образ видел на палубе кораблей, насвистывающий сквозь зубы: rule Britannia... Я видел его на песках Африки следящего за работой негров, на плантациях Индии, Китая, среди тюков чаю, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы... Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой»!

Временами может казаться, что этот образ не так уже приятен Гончарову. В упомянутом выше «силуэте англичанина и русского» симпатии писателя как будто склоняются на сторону русской патриархальности, но не английской буржуазной деловитости. Симпатии, поскольку они определяются чувством, может быть и да, но умом, сознанием Гончаров, разумеется, на стороне буржуазной деловитости, тем более, что переложенная на русскую почву она, как верится писателю, должна потерять тот колорит машинности и узкого

меркантилизма, который не нравится ему в английском буржуа. Нигде, быть может, буржуазное нутро гончаровской психики не проявляется с такою яркостью, как в известном рассуждении о роскоши и комфорте (в гл. «Сингапур»). Все громы по адресу роскоши, рассматриваемой, как пережиток господства аристократии, роскоши, неразрывно связанной, по Гончарову, с «пороком», «уродливостью», «неестественным уклонением за пределы естественных потребностей», «развратом», «безумием», «глупостью» и т. д., роскоши, убивающей торговлю («где роскошь, там нет торговли...»), роскоши, легко падающей в объятия стерегущей ее нищеты. Все благословения по адресу комфорта. «Не таков комфорт: как роскошь есть безумие, уродливое и неестественное отклонение от указанных природой и разумом потребностей, так комфорт есть разумное, выработанное до строгости и тонкости удовлетворение этими потребностями. Для роскоши нужны богатства; комфорт доступен при обыкновенных средствах. Богач уберет свою постель валансьенскими кружевами; комфорт потребует тонкого и свежего полотна. Роскошь садится на инкрустированном, золоченом кресле, ест на золоте и на серебре; комфорт требует не золоченного, но мягкого, покойного кресла, хотя и не из редкого дерева; для стола он довольствуется фаянсом, или много, фарфором. Роскошь потребует редкой дичи, фруктов не по сезону; комфорт будет придерживаться своего обыкновенного стола, но зато он потребует его везде, куда ни забросит судьба человека; и в Африке, и на Сандвичевых островах, и на Норд-Капе—везде нужны ему свежие припасы, мягкая говядина, молодая курица, старое вино. Везде он хочет находить то сукно, то шелк, в которое одевается в Париже, в Лондоне, в Петербурге; везде к его услугам должен быть готов сапожник, портной, прачка. Роскошь старается, чтоб у меня было то, чего не можете иметь вы; комфорт, напротив, требует, чтоб я у вас нашел то, что привык видеть у себя».

Благодетельным гением, создающим условия для подобной комфортабельной жизни—Гончаров это твердо знает—является капитал, «всемирная торговля». «Задача всемирной торговли и состоит в том, чтобы удешевить эти предметы, сделать доступными везде и всюду те средства и удобства, к которым человек привык у себя дома. Это разумно и справедливо; смешно сомневаться в будущем успехе. Торговля распространилась всюду и продолжает распространяться, разнося по всем углам мира плоды цивилизации. Вопрос этот важнее, нежели как кажется с первого раза. Комфорт и цивилизация почти синонимы, или, точнее, первое есть неизбежное, разумное последствие второго. И торговля не падает никогда, удовлетворяя, хотя тонким, но разумным потребностям большинства, а не безумным прихотям немногих. Дело в половину уже сделано. Куда европеец только занесет ногу, везде вы там под знаменем безопасности, обилия, спокойствия и того благосостояния, которым наслаждаетесь дома, протягивая, конечно, ножки по одежке».

Все, что ни происходит в сем мире, происходит во имя охватившей всю Европу страсти к приобретению. Одним из основных вопросов, который ставит и пытается разрешить Гончаров, рассказывая о цивилизаторской миссии англичан в Африке, является вопрос: «принесет ли европейцам победа над дикими и природой то вознаграждение, которого они вправе ожидать за положенные громадные труды и капиталы»...

Чрезвычайно характерно, что живо интересуясь этим и подобными ему вопросами, Гончаров не давал себе труда задуматься и над обратной стороной медали. Он, будучи современником умственного движения 40-х годов, одной из характернейших особенностей которого являлось увлечение идеями утопического социализма, он, по его собственному признанию, выслушивавший пламенные тирады о коммунизме Белинского, готового пожертвовать «миллион»—если бы он у него был—на коммуну, он даже намеком не указывает на то, что где

есть капитализм, там неизбежно должна быть и эксплоатация труда, где есть комфортабельно живущий буржуа, торговец или промышленник, там ютятся не только далекие от всякого комфорта, а иногда и полуголодные труженики рабочие. Хотя, Гончаров на страницах «Фрегата Паллады» нередко заговаривает об еде и обеде, но неизменно имея в виду себя или своих спутников по путешествию. Для него очень не безразлично, что, как и где есть. «Где же это будут они обедать?»—восклицает автор в гл. «Остров Бонин-Сима», узнав что офицеры собрались пообедать запросто, на берегу. «Ведь там ни стульев, ни столов, думал я, и не знал, ехать или нет. Я враг обедать на траве, особенно impromptu, чаев на открытом воздухе, где то ложки нет, то хлеб с песком, или чай с букашками».

Все это говорится нами отнюдь не в осуждение Гончарова, а единственно для того, чтобы выявить буржуазную сущность его натуры, обусловившую его миросозерцание, как писателя. «Буржуазность» Гончарова, с нашей точки зрения, отнюдь не является его недостатком; она—естественное следствие тех элементов в его «бытии», которым суждено было определить его «сознание». Что же касается предшествующей и современной ему русской литературы, то она, будучи пропитана идеями умирающего класса—дворянства, явным образом нуждалось в писателе, который явился бы провозвестником новой идеологии, какой и была при данных условиях буржуазная идеология.

«Фрегат Паллада» имел очень значительный и вполне, как мы видели, заслуженный успех среди современников. Тем не менее на это произведение Гончарова установился взгляд, как на один из этапов его литературной деятельности, и при том этап, в силу особенностей формы и содержания («путевые заметки»), не зависящих от воли автора, не из самых значительных. А. В. Дружинин выражал, конечно, не только свое, но и общее мнение, когда писал по поводу

«Фрегата Паллады»: «Гончаров может издать двадцать подобных книг—все они будут приняты с радостью, и, по прочтении каждой из них, критика будет повторять одни и те же слова, изъявления одних и тех же надежд. Дело в том, что для нашего писателя все путевые заметки, сколько бы их у него не было заготовлено, есть не что другое, как эпизод, отдых от прежней деятельности, проба пера перед настоящей работой. Автор «Обыкновенной истории» может совершить хоть еще три плавания вокруг света, а мы все будем его спрашивать, скоро ли он подарит нам новое произведение в роде «Сна Обломова». Мы теперь знаем, что ждать от Гончарова, и сверх того, уверены в том, что он сам сознает свое призвание. Как ни прекрасны, как ни умны, как ни полезны интермедии, в роде книги «Русские в Японии», за ними должна идти главная пьеса, и мы ее дождемся. Будем же нетерпеливо выжидать время, когда воспоминания о разнообразных приключениях за морем, мирно улегшись в фантазии Гончарова, дадут место произведениям его прежней фантазии и прежнего творчества. Времени этого ждать не долго: еще не было примера, чтоб писатели с фламандским элементом в призвании когда-либо останавливались на половине дороги».

VI

Подъем творческой деятельности Гончарова в конце 50-х г.г. Работа над «Обломовым». Вопрос об источниках. Социальный смысл романа. Женские типы. Художественная ценность.

Ждать действительно пришлось недолго. Путешествие с его разнообразнейшими впечатлениями, волнениями, тревогами, иной раз даже встрясками, пробудило в Гончарове активность, прервало ту спячку, в которую мало-по-малу обращалась его жизнь в конце 40-х, в начале 50-х годов, быть может, не без влияния общественных причин—деморализации и реакции, вызванных печальным исходом революционных бурь 1848 г. Нельзя не отметить, что Гончаров сам сознавал, что его жизнь принимает чересчур уже серый и однообразный характер, и надеялся, что путешествие принесет за собой благодетельные перемены. «Дни мелькали,—читаем на первых же страницах «Фрегата»,—жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями: дни, хотя порознь разнообразные, сливались в одну утомительно-однообразную массу годов. Зевота за делом, за книгой, зевота в спектакле, и та же зевота в шумном собрании и в приятельской беседе. И вдруг неожиданно суждено было воскресить мечты, расшевелить воспоминания, вспомнить давно забытых мною кругосветных героев. Вдруг и я вслед за ними иду вокруг света. Я радостно содрогнулся при мысли, я буду в Китае, в Индии, переплыву океаны, ступлю ногою на те острова, где гуляет в первобытной простоте дикарь, посмотрю на эти

чудеса—и жизнь моя не будет праздным отражением мелких, надоевших явлений. Я обновился; все мечты и надежды юности, сама юность воротилась ко мне. Скорей, скорей в путь!».

Уж самый факт, что «скромный чиновник в форменном фраке, робеющий перед начальническим взглядом, боящийся простуды, заключенный в четырех стенах, с несколькими десятками похожих друг на друга вицмундиров» превратился в «аргонавта, меняющего ежемесячно климаты, небеса, моря, государства», значил очень много для сознания Гончарова.

Проявив во время путешествия свою активность в массе экскурсий, поездок, наблюдений, в несении определенных служебных обязанностей, а главное в создании монументальной книги, Гончаров по приезде в Россию, может быть именно потому, что пробужденная путешествием активность еще не ослабела, поддался влиянию нового возбудителя. Таким возбудителем явилась любовь к Елизавете Васильевне Толстой, с которой он осенью 1855 г., т. е. через каких-нибудь полгода по возвращении из путешествия, возобновил свое давнишнее знакомство *). Период времени, посвященного треволнениям любви, был непродолжителен: 18-го октября Е. В. Толстая уехала в Москву, а к концу года Гончаров с болью в сердце в письме к ней должен был констатировать разрыв, если разрывом можно назвать окончательное прояснение их отношений: Гончаров к этому времени не мог не понять, что его нежное чувство не встречает взаимности и, кроме как на дружбу, ни на что иное, со стороны любимой девушки, он рассчитывать не вправе. Не лишнее будет отметить, что любовь к Е. В. Толстой будо-

---

*) «Голос Минувшего», 1913 г., №№ 11–12. Ст. П. Н. Сакулина «Новая глава из биографии И. А. Гончарова» и «Письма Гончарова к Е. В. Толстой».

ражила не только психику Гончарова, она требовала от него подвижной жизни, множества мелочных хлопот, имевших целью исполнение всевозможных поручений «красавицы», в особенности по части добывания ей билетов в итальянскую оперу и Михайловский театр. В результате любовь держала в известном напряжении не только психику, но и физическую сторону организма Гончарова.

Не забудем, что вся эта личная драма разыгрывалась на фоне, действительно, потрясающих политических событий: 18-го февраля 1855 г. умер Николай I; не прекращавшаяся война все более и более обнаруживала, что в России «сверху блеск, а снизу гниль» (слова Валуева); были совершены первые очень робкие, но тем не менее произведшие огромное впечатление на общество шаги правительства в умеренно-либеральном направлении.

Не без связи с происходившими событиями, состоялась перемена в служебном положении Гончарова. Под «24-го ноября 1855 г.» в «Дневнике» близкого приятеля и во многих отношениях единомышленника Гончарова проф. Петербургского университета и видного чиновника цензурного ведомства А. В. Никитенко читаем: «мне удалось, наконец, провести Гончарова в цензора. К первому января (1856 г.— В. Е. М.) сменяют трех цензоров, наиболее нелепых. Гончаров заменит одного из них, конечно, с тем, чтобы не быть похожим на него. Он умен, с большим тактом, будет честным и хорошим цензором».

Нет надобности распространяться, что цензорская служба, особенно в столь нервную кипучую эпоху, как первые годы царствования Александра II, менее всего располагала к апатии и «сонному переползанию изо дня в день». Приходилось не только быть в курсе современных литературных течений, но и поддерживать личные, временами очень интенсивные, сношения с литераторами различных направлений. Самое отправление обязанностей цензора, хотя бы на первых порах

и не лишенного умеренного либерального уклона, должно было быть особенно ответственным и волнующим для цензора-литератора. Не мало такта и ловкости надо было тратить, чтобы, не вызывая неодобрения со стороны начальства, не восстанавливать особенно против себя и писательских кругов, с которыми рвать отношения не представлялось ни удобным ни выгодным.

Все указанное обусловило собой значительный духовный подъем, который для такой натуры, как Гончаров, должен был найти исход в усиленном творчестве. Никогда ни до того, ни после того литературная деятельность Гончарова не была столь интенсивной. В период с 1855 по 1857 г.г. в различных журналах печатается «Фрегат Паллада». Летом и осенью 1857 г. начинается напряженная работа по созданию «Обломова». В 1858 г. выходит отдельным изданием, потребовавшим значительной переработки, «Фрегат Паллада». В первых четырех книжках «Отечественных Записок» за 1859 год появляется в печати «Обломов». И понятным становится, что Гончаров в письме к Юлии Дмитриевне Ефремовой от 29 июля—9 августа 1857 г. из Мариенбада, сообщив ей, что за время от 21 июня по 29-е июля им написано сорок пять писанных листов «Обломова» (...«а Вы знаете, что значит мой писанный лист»...), не может удержаться от следующей гневной тирады по адресу упрекающих его в лени: «Посудите же, мой друг, как слепы и жалки крики и обвинения тех, которые обвиняют меня в лени и скажите по совести, заслуживаю ли я эти упреки до такой степени, до какой меня ими засыпают. Было два года свободного времени на море, и я написал огромную книгу, выдался теперь свободный месяц, и лишь только я дохнул свежим воздухом, я написал книгу. Нет, хотят, чтобы человек пилил дрова, носил воду, да еще романы сочинял, романы, где не только нужен труд умственный, соображения, но и поэзия, участие фантазии. Если бы это говорил только Краевский, для

которого это — дело темное, я бы не жаловался, а то и другие говорят! Варвары!»

В этом же письме содержится ценное признание, касающееся истории создания «Обломова»: «Странно покажется, что в месяц мог быть написан почти весь роман: не только странно, но даже невозможно, но надо вспомнить, что он созрел у меня в голове в течение многих лет и что мне оставалось почти только записать его». Соответственно с этим и в статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров определенно заявляет, что «вскоре после напечатания «Обыкновенной истории» у него уже в уме был готов план «Обломова». Отсюда мы вправе сделать тот вывод, что и «Обыкновенная история» и «Обломов», поскольку эти романы являются социальными, относятся приблизительно к одному и тому же периоду в истории нашей общественности, хотя и отражают различные его моменты. Правда, этот вывод несколько противоречит настойчивым утверждениям самого Гончарова («Лучше поздно, чем никогда»), что его романы связаны «одною последовательною идеею—перехода от одной эпохи русской жизни к другой», и что, в частности, «Обыкновенная история»—это первая галлерея, служащая преддверием к следующим двум галлереям или периодам, уже тесно связанным между собою, т. е. к «Обломову» и «Обрыву», или к «Сну» и к «Пробуждению». Спрашивается, если «Обломов»—«Сон», а «Обрыв»—«Пробуждение», то какое же соответственно расшифровывающее основную идею романа наименование придумать для «Обыкновенной истории»? Сколько ни думай, ничего соответственного не подберешь. Выше мы видели, что Гончаров, комментируя «Обыкновенную историю», подчеркивал, что в ней ему хотелось изобразить «проблески новой зари, чего то трезвого, делового, нужного», и вдруг после «проблесков» наступает «Сон»!.. Едва ли такого рода последовательность периодов входила в авторские расчеты, да она и по существу была бы

неправильна. Нам думается, что всего более из предлагаемых Гончаровым названий ко всей его трилогии подходило бы название «Пробуждение». В «Обыкновенной истории», сказали бы тогда, нашла себе отражение та сторона «Пробуждения», которая выразилась в превращении патриархальной буржуазии в капиталистическую (по Переверзеву) или же в усвоении частью дворянства буржуазно-бюрократической идеологии и в падении романтического миросозерцания; а в «Обломове» та сторона «Пробуждения», наиболее характерной чертой которой явилось отмирание и вырождение другой части дворянства, оказавшейся неспособной примениться к новым условиям социально-экономического развития страны. Прежде чем, однако, сосредоточить свое внимание на разъяснении общественного смысла «Обломова», скажем два слова по поводу субъективных элементов романа. Из вышеприведенной на фактических данных основанной негодующей отповеди Гончарова по адресу тех, кто обвиняет его в лени, иными словами в «Обломовщине», можно видеть, насколько ошибочно было бы отождествлять его с «Обломовым». Даже столь склонный везде и всюду видеть в произведениях Гончарова автобиографические черты исследователь, как Е. А. Ляцкий, должен, в конце концов, сознаться, что от «Обломова до Гончарова—расстояние гораздо большее, чем от обоих Адуевых». Тем не менее, нет сомнения, что при создании этого образа Гончаров нередко обращался к субъективному источнику—самонаблюдению. Он сам сознавался в этом, хотя бы в следующих словах, всецело относящихся к процессу его творчества: «Мне, прежде всего, бросался в глаза ленивый образ Обломова—в себе и в других—и все ярче и ярче выступал передо мной. Конечно, я инстинктивно чувствовал, что в эту фигуру вбираются мало-по-малу элементарные свойства русского человека—и пока этого инстинкта довольно было, чтобы образ был верен характеру». Ценная статья П. Н. Сакулина «Новая глава из биографии Гончарова»

(«Голос Минувшего», 1913 г., № 11), которою он предваряет письма Гончарова к Е. В. Толстой,—рядом убедительных сопоставлений доказывает, что для изображения отношений Обломова к Ольге Ильинской Гончаров воспользовался многим из того, что ему пришлось передумать и перечувствовать в период своего увлечения Толстой.

Размер и характер нашей работы не позволяют нам углубиться в вопрос о том, что специфически-гончаровского было суждено воспринять Илье Ильичу Обломову. К тому же этот вопрос, благодаря изысканиям Е. А. Ляцкого (см. соответствующие главы его книги) и сопоставлениям П. Н. Сакулина (в указанной выше статье его) представляется, в значительной мере разработанным, а потому отсылая читателей, особо им интересующихся, к названным авторам, вернемся к социальному значению «Обломова».

1859 год ознаменовался появлением в печати двух романов, которые, с полным основанием могут быть рассматриваемы, как отходная русскому, на крепостных хлебах возросшему и даровым трудом эксплоатируемого крестьянства повитому, земле- и душевладельческому классу, — «Дворянского Гнезда» и «Обломова». Однако, хотя Тургеневский и Гончаровский герои, т. е. Лаврецкий и Обломов, относятся к одному социальному пласту, но при ближайшем их рассмотрении оказывается, что они представители различных слоев его. Лаврецкий, бесспорно, принадлежит к цвету тогдашней дворянской интеллигенции, к одной из разновидностей, так называемых «людей сороковых годов» или «лишних людей», которые и по своему образовательному уровню и по своей нравственной чуткости головою выдавались над окружающей средою на безотрадном общественном фоне Николаевского безлюдья, но все же, как представители обреченного силою неумолимых социально-экономических факторов на вымирание класса, носили на себе печать скорой гибели. Обломов сравнительно очень мало похож на них.

В противоположность им, он мало интеллигентен, а ум его пребывает в состоянии косности. Он не только не стремится, подобно им, к выработке цельного философского мировоззрения, но, по справедливому указанию Овсянико-Куликовского (в его «Истории Русской Интеллигенции» т. 1-й), «повидимому, даже не способен чувствовать необходимости объединяющей идеи. Его образование скудно и хаотично. У него нет «того груза знаний», которые могли бы дать направление вольно гуляющей в голове или праздно дремлющей мысли. Обломова даже трудно причислить к настоящей интеллигенции... В сущности среда, к которой он наиболее подходит, это — либо патриархальная, полуобразованная среда захолустных помещиков старого времени, либо мещанство того типа, какой изображен в последних главах романа. И сама Обломовка, как она представляется «в Сне Обломова», вовсе не принадлежит в числу тех «дворянских гнезд», которые в доброе старое время были истинно культурными уголками и рассадниками света мысли и гуманности. Обломовцы, из среды которых вышел Илья Ильич, — не интеллигенция и сам он — лишь случайный пришлец в образованном и мыслящем обществе, откуда его так и тянет, можно сказать, стихийно, инстинктивно тянет к иной среде — попроще, где не ломают головы над мудреными вопросами, где мысль, чувство и воля могут мирно дремать на лоне непосредственности и привычных традиционных форм вялой и косной жизни».

Но едва ли не самым резким отличием Обломова от идеалистов 40-х годов является его крепостничество. Те, хотя и выростали на лоне крепостного права, усваивая благодаря этому привычки барской избалованности, однако, хорошо сознавали все зло и безобразие крепостного права. Илья Ильич, в противоположность им, — крепостник до мозга костей и по привычкам и по убеждениям. В подтверждение этого взгляда можно привести целый ряд фактов,

извлеченных из содержания романа. Сошлемся хотя бы на наиболее яркие и характерные. Вот, знаменитая сцена Обломова с Захаром, осмелившимся по поводу предстоящего переезда на другую квартиру, перспектива которого так пугает Обломова, заметить: «другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно». Обломов и изумлен, и возмущен и озадачен. — «Другие не хуже, с ужасом повторил Илья Ильич. Вот до чего договорился! Я теперь буду знать, что я для тебя все равно, что другой»... Ужас Ильи Ильича происходит от сознания, что такой испытанной верности раб, как Захар, низвел его на степень других, нарушив тем самым его право на исключительное предпочтение особы барина всем и каждому. После долгих размышлений о дерзости Захара Обломов решается выяснить ему разницу между собою и другими.

«Другой, — втолковывает он Захару, — кого ты разумеешь, — есть голь окаянная, грубый, необразованный человек, живет грязно, бедно, на чердаке; он и выспится себе на войлоке где-нибудь на дворе. Что этакому сделается? Ничего. Трескает то он картофель, да селедку. Нужда метет его из угла в угол, он и бегает день-деньской. Другой есть такой человек, который сам себе сапоги чистит, одевается сам, хоть и барином смотрит, да врет, он и не знает, что такое прислуга; послать некого — сам сбегает, за чем нужно; и дрова в печке сам помешает, иногда и пыль оботрет... «Другой» работает без устали, бегает, суетится, — не поработает, так и не поест. «Другой» кланяется, «другой» просит, унижается... А я? Ну-ка, реши: как ты думаешь «другой» я — а?... — Я «другой»! Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид? Разве недостает мне чего нибудь? Кажется, подать, сделать — есть кому. Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу! Стану ли я беспокоиться! Из чего мне? И кому я это говорю? Не ты ли с детства

ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался. Так как же это у тебя достало духу равнять меня с другими? Разве у меня такое здоровье, как у этих «других»? Разве я могу все это делать и перенести?»..

Не менее ярко крепостничество Ильи Ильича сказывается в его плане устройства имения, в который «мужики» входят постольку, поскольку необходимо придумать новую меру, построже против их лени и бродяжничества»; а самый план, строго говоря, сводится к мечтам об «устройстве собственного житья-бытья в деревне», на лоне «вечного лета», «вечного веселья, сладкой еды, да сладкой лени».

Сколько бессознательного крепостничества, хотя бы, в этой картине, рисуемой услужливым воображением Обломова: «Он сидит в летний вечер на терассе, за чайным столом, под непроницаемым для солнца навесом деревьев, с длинной трубкой, и лениво втягивает в себя дым; становится прохладно, наступают сумерки; крестьяне толпами идут домой. Праздная дворня сидит у ворот; там слышатся веселые голоса, хохот, балалайка, девки играют в горелки; кругом его самого резвятся малютки, лезут к нему на колени, вешаются к нему на шею; за самоваром сидит... царица всего окружающего, его божество... женщина, жена. А между тем в столовой, убранной с изящной простотой, ярко заблистали приветные огоньки, накрывался большой круглый стол; Захар, произведенный в мажордомы, с совершенно седыми бакенбардами, накрывает стол, с приятным звоном расставляет хрусталь и раскладывает серебро, поминутно роняя на пол то стакан, то вилку; садятся за обильный ужин; тут сидит и товарищ его детства, неизменный друг его, Штольц, и другие все знакомые лица; потом отходят ко сну»...

Совершенно подстать и другая картина: Обломов воображает себя лежащим на траве под деревом, любующимся сквозь ветки на солнышко и считающим, сколько птичек перебывает на ветках. «А тут тебе на траву то обед, то завтрак принесет краснощекая прислужница, с голыми, круглыми и мягкими локтями и с загорелой шеей; потупляет плутовка взгляд и улыбается»...

Весьма любопытно и совпадение во взглядах Обломова и Гоголя, как автора «Выбранных мест из переписки с друзьями», на народное образование. На совет Штольца завести школу в деревне Илья Ильич отвечает: «Не рано ли? Грамотность вредна мужику; выучи его, так он, пожалуй, и пахать не станет». Крепостническая основа подобных взглядов, разумеется, вне всякого сомнения.

Но отмечая крепостничество Обломова, нельзя, вместе с Овсянико-Куликовским, не принять во внимание того, что «Илья Ильич, будучи несомненным крепостником по убеждению, привычкам и по самой натуре, однако-же отнюдь не может быть причислен к тем, которые хотели и пытались отстаивать крепостное право, — крепостникам — политикам, составлявшим партию... Обломов — крепостник, но не злостный, не воинствующий. Крепостнические тенденции, в смысле определенной политической программы, не согласовались бы с его простотой, мягкостью, благодушием, прекраснодушием, в особенности же — с его обломовщиной. Эта обломовщина, как особый строй души, так сильна в нем, что он охотно отдал бы всех своих 300 Захаров и все свои права и прерогативы помещика и дворянина, лишь бы спокойно лежать на диване, лишь бы жизнь его «не трогала», лишь бы нашлось какое-нибудь «промышляющее о нем око». Такое и нашлось в лице вдовы Пшеницыной. Живя у нее и с нею, Обломов решил, что ему некуда больше итти, нечего искать, что идеал его жизни осуществлялся, хотя бы без тех лучей, которыми некогда воображение рисовало ему

барское, широкое и беспечное течение жизни в родной деревне, среди крестьян и дворни».

Изложенное убеждает, что дистанция между Обломовым и широко образованными, философски-мыслящими, либерально-настроенными «людьми сороковых годов» — очень велика. Но кой-какие черты общественно-психологического характера, не считая указанной выше принадлежности к одному и тому же классу, все-таки роднят его с ними. Такими чертами нельзя не признать склонности к рефлексии, к самоанализу, гуманной настроенности, эстетизма, мечтательности и малой активности по части практических дел; затем печать обреченности, печать скорого конца, лежащая на «людях сороковых годов», еще заметнее на челе Обломова. В «Обломове», в его психологии и его судьбе «представлен процесс, так сказать, самопроизвольного вымирания крепостнической Руси — процесс ее «естественной смерти, исключавший необходимость насильственного переворота» (Овсянико-Куликовский). Но чем вызвана эта естественная смерть? «Кто проклял тебя, Илья? — обращается к Обломову в момент последнего, решительного объяснения между ними Ольга Ильинская: что сгубило тебя?».. Обломов отвечает на этот вопрос одним словом: «обломовщина».

Но «что такое обломовщина?» Так озаглавил свою статью о романе Гончарова Н. А. Добролюбов, и его точка зрения, надо думать, в общем совпала с точкой зрения автора. По крайней мере, в очерке «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров, заявив, что он не считает нужным долго останавливаться на комментариях к «Обломову», приводит в объяснение этого такое соображение: «в свое время его разобрали, и значение его было оценено и критикой, особенно в лице Добролюбова, и публикою...»

Обломовщина, в понимании Добролюбова, это комплекс целого ряда психологических черт, развившихся в той социальной атмосфере, которая царила в среде российского

земле- и душевладельческого класса. Выявление этих черт в их естественной, законной связи с породившими их социальными факторами, представляет одну из самых блестящих, нисколько не устаревшую, несмотря на шестидесятипятилетнюю давность, страниц статьи Добролюбова. Вот несколько выписок из нее:

«В чем заключаются главные черты обломовского характера? В совершенной инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. Причина же апатии заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в образе его умственного и нравственного развития. По внешнему своему положению — он барин: «у него есть Захар и еще триста Захаров», по выражению автора... С малых лет он привык быть байбаком, благодаря тому, что у него и подать и сделать — есть кому: тут уж даже и против воли нередко он бездельничает и сибаритствует... И вот у него уже готово первое понятие, что сидеть сложа руки почетнее, нежели суетиться с работою... В этом направлении идет и все дальнейшее развитие. Понятно, какое действие производится таким положением ребенка на все его нравственное и умственное образование. Внутренние силы «никнут и увядают» по необходимости. Если мальчик и пытает их иногда, то разве в капризах и заносчивых требованиях исполнения другими его приказаний. А известно, как удовлетворенные капризы развивают безхарактерность, и как заносчивость несовместна с уменьем поддерживать свое достоинство. Привыкая предъявлять бестолковые требования, мальчик скоро теряет меру возможности и удобоисполнимости своих желаний, лишается всякого уменья соображать средства с целями и потому становится втупик при первом препятствии, для отстранения которого нужно употребить собственное усилие... Гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных

усилий, а от других, развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг друга и одно другим обуславливаются, что кажется нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу. Он раб каждой женщины, каждого встречного, раб каждого мошенника, который захочет взять над ним волю. Он раб своего крепостного Захара, и трудно решить, который из них более подчиняется власти другого. По крайней мере—чего Захар не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать, а что захочет Захар, то сделает и против воли барина, и барин покорится... Оно так и следует: Захар все-таки умеет сделать хоть что-нибудь, а Обломов ровно ничего не может и не умеет... Он и вообще жизни не умел осмыслить для себя. В Обломовке никто не задавал для себя вопроса: зачем жизнь, что она такое, какой ее смысл и назначение? Обломовцы очень просто понимали ее, «как идеал покоя и бездействия», нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как то: болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд, как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным. Точно так относился к жизни и Илья Ильич. Идеал счастья, нарисованный им Штольцу, заключался ни в чем другом, как в сытной жизни, — с оранжереями, парниками, поездками с самоваром в рощу, и т. п., — в халате, в крепком сне, да для промежуточного отдыха, — в идиллических прогулках с кроткою, но дебелою женою, и в созерцании того, как крестьяне работают... Рисуя идеал своего блаженства, Илья Ильич не думал спросить себя о внутреннем смысле его, не думал утвердить его законность и правду, не задал себе вопроса: откуда будут браться эти оранжереи и пар-

ники, кто их станет поддерживать, и с какой стати будет он ими пользоваться? Не задавая себе подобных вопросов, не разъясняя своих отношений к миру и к обществу, Обломов, разумеется, не мог осмыслить своей жизни и потому тяготился и скучал от всего, что ему приходилось делать».

Таким образом, обломовщина, по Добролюбову, это своеобразное сочетание из «совершенной инертности», «апатии ко всему», «байбачества», «сибаритства», «бесхарактерности», «неподвижности», «нравственного рабства», органического отвращения к труду, «неумения осмыслить жизнь», неудовлетворенности ею и «скуки».

Обломовщина, как мы видели по собственному признанию Ильи Ильича, обусловила его гибель. Так ли это на самом деле? Одна ли обломовщина тут виновата? Если она одна, то почему же с нею уживались ранее многие сотни тысяч российских Обломовых, и только в средине 50-х годов,— период, к которому относится действие романа,— она стала влиять столь губительно. Не следует ли отсюда, что к ее влиянию присоединилось в данный исторический момент, влияние и иных факторов?

Здесь мы позволим себе небольшую справку из истории экономического развития России. В 1824—1826 гг. в Россию ввозились в среднем, в год 74 тысячи пудов хлопка и 337 тыс. пудов хлопчатобумажной пряжи, а в 1848—1850 гг. уже более миллиона с четвертью пудов хлопка, но пряжи за то лишь 281 тысяча пудов. Это огромное увеличение ввоза хлопка, рядом с уменьшением ввоза пряжи показывало, насколько возросла самостоятельность русской текстильной промышленности. Прежде русский ситцевый фабрикант не мог обойтись без английской пряжи, теперь в России появляются свои прядильные фабрики и растут с такой же быстротой, как раньше ткацкие. В 1843 году в России было 40 таких фабрик, и на них работало до 350 тысяч

веретен, а в 1853 году веретен в ходу уже было до одного миллиона. Быстрый рост русской промышленности, о котором можно судить по приведенным примерам, касающимся одной только текстильной промышленности, требовал обширного рынка. Внутренний рынок потреблял мало, так как крепостной мужик, у которого барин отбирал все «лишнее», был очень плохим потребителем, а раскрепощение мужика все еще пугало правящие сферы. При таких условиях надо было подумать о внешних, в данном случае, восточных рынках. Стремление Николая I монополизировать восточные рынки для своей промышленности вызвало войну сначала с Турцией, а затем с Англией и Францией. Неудача, постигшая Россию в этой войне, закрыла в значительной степени для русской промышленности внешние рынки; приходилось волей-неволей расширять внутренние, а для этого совершенно необходимо было уничтожение крепостного права. С уничтожением крепостного права Обломовым, если и не сразу, то все же в недалеком будущем должен был притти конец.

Итак, если обломовщина, внутренне растлевая Обломовых, приближала их гибель, то извне эту гибель обусловило победоносное развитие промышленного капитала, пришествие Штольцев. Штольц, по Гончарову, друг Обломова, но их отношения сводятся к постоянной борьбе между ними: вечно Штольц пытается расшевелить Обломова, пробудить в нем энергию и активность, иногда добивается кое-каких результатов, а чаще, по крайней мере, в основном, в существенном, терпит неудачи; наконец, познав тщету своих усилий, заявляет Обломову: «ты погиб Илья!..» и к этому беспощадному вердикту добавляет уже про себя: — «нечего тебе говорить, что твоя Обломовка не в глуши больше, что до нее дошла очередь, что на нее пали лучи солнца! Не скажу тебе, что года через четыре она будет станцией дороги, что мужики твои пойдут работать насыпь, а потом по

чугунке покатится твой хлеб к пристани... А там... школы, грамота, а дальше... Нет, перепугаешься ты зари нового счастья, больно будет непривычным глазам. Но поведу твоего Андрея (сына Ильи Ильича), куда ты не мог итти... Прощай, старая Обломовка! Ты отжила свой век!». Этот отрывок расшифровывает социальный смысл борьбы, которую ведет с Обломовым Штольц. Не вдаваясь в характеристику этого последнего, отметим, что целью его жизни является обогащение и, уже к тридцати годам «он нажил дом и деньги». Штольц участвует в какой то акционерной компании, отправляющей товары за границу, выступая в роли и агента ее в иностранных государствах, и составителя выгодных проектов, и исполнителя их на деле. «Он,—говорит о нем Овсянико-Куликовский,—при случае заводит речь о фабриках, о путях сообщения, о пристанях, о сбыте. Но он заводит речь также о школах, именно — народных, о просвещении. Его «программа» — либерально-буржуазная и просветительная: раскрепощение, экономическое развитие страны, промышленный прогресс, просветительная деятельность. Он восторженно приветствует зарю новой жизни, занимавшуюся в конце 50-х годов; он ожидает близкой смены крепостнической и обломовской эпохи новою либерально-буржуазною, прогрессивною, когда, вместо Обломовского сна и застоя, закипит работа на всех поприщах, и процесс оздоровления общественного организма быстро пойдет вперед».

Не трудно заметить, что буржуазные и капиталистические элементы в социальном облике Штольца выражены несравненно ярче, чем в облике Адуева—старшего. Это разумеется, и естественно, ибо в десять слишком лет, отделяющие «Обломова» от «Обыкновенной истории», капитализм в России, в частности промышленный капитализм, сделал громаднейший шаг вперед. История отношений Обломова и Штольца, вернее та борьба, которую ведет Штольц, чтобы истребить

в Обломове обломовщину свидетельствует, как нельзя лучше о том, что часть русского крепостнического барства оказалась решительно не в силах приспособиться к условиям нового экономического быта... и в результате погибла («Погиб ты, Илья»)... Штольцы, поскольку они лично симпатизируют Обломовым могут искренно сожалеть об их погибели, но рассматривая вопрос в его социально-экономической постановке, нельзя не признать, что вымирание Обломовых выгодно было для Штольцев. Это чуял и Гончаров: не даром, по его роману, победоносный Штольц завладел невестой Обломова, после того, как Обломов оказался не в силах удовлетворить тем требованиям, которые она к нему предъявила; недаром в его руки перешло управление имением Обломова; недаром сын Обломова, названный в честь Штольца Андреем, сделался его питомцем.

В заключение несколько слов о женских образах романа. Среди них центральное место принадлежит, конечно, Ольге Ильинской. Гончаров в своей статье «Лучше поздно, чем никогда» рассматривает ее, как дальнейшее развитие типа Наденьки из «Обыкновенной истории». — Наденька, предмет любви Александра Адуева, является «отражением своего времени»; «она уже не безусловно покорная дочь перед волей каких-бы то ни было родителей»; она «без спросу полюбила Адуева» и сознала себя в праве «распоряжаться по своему своим внутренним миром». Но тут и кончилась ее «эмансипация». «Что с собой делать, куда идти, что начать», — она не знает и «остановилась в неведении». Ольга, по Гончарову, это «превращенная Наденька следующей эпохи». В отношении сознательности, самостоятельности натуры она далеко опередила Наденьку. Рано потеряв родителей и поддерживая с теткой хорошие, но лишенные какой-бы то ни было интимности отношения, она одна шла своей дорогой, «по которой ей приходилось пробивать свою колею собственным умом, взглядом, чувством». На этой почве, надо думать,

развилась и пытливость Ольги, поражавшая тех людей, с которыми сталкивала ее судьба. Вспомним, как много читать приходилось Обломову, чтобы удовлетворить ее безпредельной любознательности. Да что Обломов, даже Штольца держала она в постоянном напряжении, засыпая его разнообразнейшими вопросами, выдававшими ее кипучую умственную деятельность. «Ее ум,—читаем в романе,—требует ежедневно насущного хлеба... душа ее не умолкает, все просит опыта и жизни». Охваченная жгучею потребностью знать, как можно больше, Ольга сознает поверхностность своего образования и с горечью восклицает: «зачем нас, женщин, не учат?» В этих словах чувствуется уже женщина нового времени, стремящаяся в умственном отношении сравняться с мужчиной. Этой стороной своего характера она напоминает Наталью Ласунскую и Елену Стахову. Идейность ее натуры также роднит ее с Тургеневскими героинями. Жизнь для Ольги — «долг, обязанность». На почве такого отношения к жизни выросла и ее любовь к Обломову, которого, не без влияния Штольца, она задалась целью спасти от угрожавшей ему печальной перспективы умственно опуститься и погрузиться в тину жизни пошлого «существования». Идейным является и ее разрыв с Обломовым, на который она решилась только тогда, когда убедилась, что в желательном для нее смысле Обломова не возродить никогда. Точно также и неудовлетворенность, временами охватывающая душу Ольги по выходе ее замуж, вытекает из того же светлого источника: это не что иное, как тоска по идейному делу, которого не мог дать ей благоразумный и рассудительный Штольц. Напрасно этот последний убеждает ее, что она испытывает «общий недуг человечества», и говорит: «мы не титаны с тобой, мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье». Подобные

рассуждения едва ли могут рассеять сомнения Ольги, пред которой стоит трудная дилемма или последовать властному голосу, зовущему ее в неизведанную даль, или остаться добродетельною женой умного дельца. Если даже она, утомленная пережитой однажды бурей, изберет последнее, то едва ли, оставаясь прежней Ольгой, будет в состоянии затушить пожирающий ее Прометеев огонь. Во всяком случае пленительный образ Ольги таит в себе гораздо больше возможностей умственного и нравственного совершенствования в будущем, чем положительная фигура деловитого Штольца!

Полною противоположностью Ольге является «хозяйка», а затем и жена Обломова Агафья Матвеевна Пшеницына, невежественная и прозаическая женщина. Но и о ней, в особенности об ее бесхитростной и горячей любви к Обломову Гончаров сумел рассказать удивительно ласково и тепло. Сколько задушевности, хотя бы в упоминаниях о том, как она во время обрушившихся на Обломова материальных невзгод закладывала свой жемчуг, для того, чтобы слаще кормить его. И понятным становится, что один из современных Гончарову критиков (Дружинин) страницы, посвященные изображению Агафьи Матвеевны, объявил «верхом совершенства в художественном отношении».

Здесь уместно будет сказать несколько слов о художественной стороне романа. Конечно, «Обломов» наиболее безупречное из художественных творений Гончарова, и то, что в последних главах нашей работы нам придется говорить о высоте художественных достижений Гончаровского творчества, в значительной своей части, будет относиться именно к «Обломову». В частности «Сон Обломова» — действительно, «великолепнейший эпизод, который останется в нашей словесности на в е ч н ы е времена» (Дружинин). Тем не менее, нельзя не отметить, анализируя «Обломова» с чисто художественной точки зрения, и одного весьма существенного дефекта. Первая часть романа, повидимому, писалась еще

в 40-х гг., тогда как остальные в 1857 — 1858 гг. Это не могло не сказаться на художественной цельности образа главного героя, и Обломов первой части очень резко отличается от Обломова последующих частей. И, бесспорно есть доля правды в следующем замечании Дружинина: «Между Обломовым, который безжалостно мучит своего Захара, и Обломовым, влюбленным в Ольгу, лежит целая пропасть, которой никто не в силах уничтожить. Насколько Илья Ильич, валяющийся на диване между Алексеевым и Тарантьевым, кажется нам заплесневшим и почти гадким настолько тот же Илья Ильич, сам разрушающий любовь избранной им женщины и плачущий над обломками своего счастья, глубок, трогателен и симпатичен в своем грустном комизме».

VII

Цензорская деятельность Гончарова в период 1856—1860 г.г. Переход на службу в министерство внутренних дел. Перемены в его общественно-политическом миросозерцании.

Как уже было указано выше, Обломов писался и печатался Гончаровым в годы его службы в министерстве народного просвещения в должности цензора С.-Петербургского цензурного комитета. Исследования Мазона («Русская Старина» 1911 г., №№ 3 и 11 и XIII гл. в его книге «Ivan Gontcharov, un maitre du roman russe». Paris, 1914) и автора этих строк («Ежемесячный журнал» 1916 г., № 9—10, ст. «Гончаров и русская бюрократия»), основанные на документальных данных, извлеченных из архивов цензурного ведомства, удостоверяют, что Гончаров, в этот период своей цензорской деятельности, проявил себя в общем довольно либеральным цензором, как и естественно было ожидать от сочувствователя Штольца с его либерально-буржуазной программой.

В приложениях к книге Мазона опубликован целый ряд его служебных донесений, из которых явствует, что ему именно русское общество обязано появлением в печати некоторых произведений, благонамеренность коих была заподозрена прежнею цензурою.

Так, весною в 1856 году при его участии было разрешено к изданию собрание «Рассказов и повестей» Тургенева, со включением в их число известной повести «Муму».

Летом того же года Гончарову удалось провести издание «Полного собрания сочинений Фонвизина», без всяких исключений. Весной 1857 г. он способствует разрешению к печати 7-го дополнительного тома сочинений Пушкина и дает весьма благоприятный отзыв о запрещенных тогда романах Лажечникова «Ледяной дом» и «Последний Новик». В конце 1858 г. Гончаров энергично встал на защиту нового издания «Записок Охотника», каковое и было дозволено в феврале 1859 года.

В марте того же года он добивается разрешения на издание «Полного собрания сочинений» Лермонтова, со включением мест, вычеркнутых прежнею цензурою.

В том же 1859 г. Гончаров получил замечание от начальства за допущение к печати статьи, осуждавшей бюрократию за нежелание отступить от старого девиза: не рассуждать, а исполнять волю начальства («Отечественные Записки», 1859 г., № 1, ст. «Современная хроника России. Пожертвование со стороны городских обществ») и стихотворения Розенгейма «Весна», в котором автор говорит, что он ненавидит запустение, в чем бы оно ни проявлялось: государства ли омертвение или природы, и радуется тому, что рухнул снежный гнет (там же). В ноябре того же года, Гончаров получает уже официальный выговор от министра народного просвещения Е. П. Ковалевского за допущение в тех же «Отечественных Записках» (1859 г., № 10) рецензии профессора-экономиста Бабста на книгу сенатора Семенова о российской внешней торговле и промышленности.

Вина Гончарова в данном случае заключалась де в том, что он не обратил должного внимания на содержащееся в книге утверждение, что «не беда если сенатор напишет плохую книгу, но худо, если он, не зная основательно государственного хозяйства, положит какую-нибудь губернию на прокрустово ложе» и т. д.

Замечание и выговор, в течение короткого промежутка времени, вписали в служебную биографию Гончарова, стяжавшего себе за долгие годы своей службы репутацию исполнительного чиновника, новые, неожиданные и, конечно, очень для него неприятные страницы. Ему, тем более, трудно было мириться с подобным отношением к нему министра, что как раз в это время его литературная слава, в связи с появлением в печати «Обломова», столь превознесенного Добролюбовым, достигла своего апогея. Хотя в наших руках нет документальных данных, которые позволяли бы совершенно точно и непреложно установить, какими причинами было вызвано решение Гончарова выйти в отставку, но едва ли можно сомневаться, что здесь не осталось без влияния третирование его служебным начальством. Во всяком случае, с начала 1860 года Гончаров уже не на службе. Это не могло не отразиться на состоянии его духа: в 48 лет не так то легко менять свои привычки и жизненный обиход, в особенности, если они имели за собой двадцатипятилетнюю давность (столько именно времени продолжалась служба Гончарова). Служебные неприятности, а затем и выход в отставку, интенсивнейшая работа над «Обломовым», потребовавшая страшного напряжения духовных сил, не могли не сказаться на его психике. С другой стороны, делала свое дело и дурная психическая наследственность. Как бы то ни было, разыгравшийся в 1859—1860 гг. конфликт между Тургеневым и Гончаровым свидетельствует о психической неуравновешенности этого последнего. Находясь под влиянием навязчивой идеи, Гончаров убедил себя в том, что Тургенев обкрадывает его, как писателя, и не постеснялся гласно обвинить в этом Тургенева. Это обвинение заставило оскорбленного Тургенева потребовать третейского суда между ним и Гончаровым. Суд, состоявший из друзей обоих писателей, принял примирительную формулу, которая удовлетворила Гончарова, но не удовлетворила Тургенева, считавшего, что она

не компенсирует его за нанесенное ему оскорбление. Этот конфликт вызвал длительный разрыв между писателями. Впоследствии, хотя отношения между ними и возобновились, но со стороны Гончарова они никогда не были доброжелательными, а иногда он испытывал приливы такой неприязни к Тургеневу и страха перед ним, связанные со столь дикими и неосновательными подозрениями относительно козней, якобы замышленных против него Тургеневым, что их нельзя объяснить иначе, чем приступами настоящей душевной болезни, постигавшей временами Гончарова.

Выходя в отставку, Гончаров надеялся, что его литературная работа пойдет успешно. Надежды эти, однако, не оправдались: «Обрыв», который в это время начал писать Гончаров, и несколько отрывков которого он даже напечатал («Софья Николаевна Беловодова» — «Современник», 1860 г., № 2; «Бабушка», «Портрет» — «Отечественные Записки» 1861 г., №№ 1 и 2) подвигался плохо. Гончарова начало угнетать сознание, что он остался без дела, что ему грозит бедность, да и здоровье заметно сдавало. В соответствии с этим, его письма к родным, в частности к сестре А. А. Кирмаловой, начинают приобретать характер более или менее горьких жалоб на свою судьбу. Вот тому несколько примеров:

«Поздравляю опять тебя с новым годом: дай бог, чтоб он принес больше счастья, нежели прошлый, который для всех, от кого не послышишь был неудачен, а еще високосный! Я бросил службу, потом не совсем удачно съездил за границу, пил воды, купался в море, а осенью, опять возобновились припадки печени, желчь, и полнокровие не дает покоя» (из письма от 8 января 1861 года). «Мне везде все скучно, и я не знаю, что с собой делать!» (из письма от 26 февраля 1861 г.). «Зачем я ездил» (за границу) и зачем возвратился?— Спрашиваю себя и не знаю, что отвечать на это. «Поехал ни по что и привез ничего», говорила, бывало, маменька, не помню по какому случаю. То же могу сказать и о себе.

Дела у меня теперь ни литературного, ни служебного нет, и я только даром небо копчу... А квартиру я скоро сдам и найму себе щель, в какой жил прежде: одним словом, года два - три потянусь на те деньжонки, которые достались от Обломова, а потом сам поступлю в разряд нищих»... (из письма от 20 сентября 1861 г.).

Весной следующего года Гончаров приезжает на родину, в Симбирск, а в конце 1862 г. вновь становится чиновником, будучи назначен редактором правительственной газеты «Северная Почта», издававшейся при министерстве внутренних дел. Самый факт принятия Гончаровым этого назначения нельзя не признать безразличным. Ведь какой-нибудь год с небольшим тому назад министерство внутренних дел с отставкой Ланского и назначением на пост управляющего министерством Валуева (23 апреля 1861 г.) утеряло характер одного из сочувствовавших тогдашним либеральным веяниям органов государственного управления. Однако, резко порвать с недавним прошлым и круто повернуть руль вправо в расчеты Валуева не входило, и совершенно отгораживаться от умеренно либеральных течений он, во всяком случае, не собирался, в особенности на первых порах. Так, создавая, главным образом, для борьбы с настроенной оппозиционно журналистикой особый орган—«Северную Почту», Валуев хотел, чтобы борьба эта велась не только чисто консервативными аргументами, но и аргументами умеренного либерализма. Тем не менее, его предварительный разговор с Никитенком, намеченным им в редакторы «Северной Почты», уже с достаточной ясностью вскрыл истинные намеренья русского Персиньи *), как называет Валуева в одном из своих писем И. С. Аксаков**). Вот относящиеся сюда строчки из «Дневника» Никитенка (т. II, стр. 51),

---

*) Персиньи—французский министр внутренних дел, друг Наполеона, поклонник системы инспирирования литературы.

**) «И. С. Аксаков в его письмах», IV, № 11, 1896 г., 187—188.

записанные под 28 октября 1861 г.: «Он (т. е. Валуев) предложил мне быть редактором газеты, которую министерство решило издавать с нового года. Я высказал ему мое мнение, что газета должна, прежде всего, иметь свой определенный характер, должна выражать какое - нибудь направление. А направление это, я полагаю, не может быть иное, как умеренно - либеральное. Если я возьму на себя редакцию газеты, буду ли я в состоянии поддерживать это направление в видах самого правительства. Министр отвечал, что тут надо будет действовать осторожно. «Вы знаете,—прибавил он,—что само правительство не уяснило себе своих видов».

Уклончивость и неопределенность этого ответа человека, более принципиального и скептически настроенного, чем Никитенко, заставили бы, без сомнения, прервать всякие переговоры, с Валуевым. Никитенко же, хотя и без колебаний, всетаки принял сделанное предложение. В очень скором времени ему пришлось убедиться в необдуманности и опрометчивости своего шага. В конце июня 1862 г. он уже окончательно уверился, что «всякое живое слово в газете вызывает в нем (т. е. в Валуеве) только досаду», и что он «желает дать газете такой оборот, что ему, Никитенку, решительно в ней нечего делать». Логическим следствием этой уверенности явилась отставка Никитенка, принятая Валуевым и утвержденная государем 30-го июня 1862 года. Заключительным аккордом этой истории служат следующие слова Никитенки, свидетельствующие о том, насколько изменился под влиянием непосредственных впечатлений жизни его взгляд на пригодность к делу государственного строительства в духе истинного прогресса представителей современной ему правительственной власти: «Что же, в самом деле, мы, люди пожившие, благомыслящие друзья прогресса, в состоянии сказать по совести молодому, нетерпеливому волнующемуся поколению, что можем мы сказать ему о наших правительственных деятелях?».

Характерно для эволюции взглядов Никитенко и то обстоятельство, что мероприятия правительства, принятые в связи с известными петербургскими пожарами (запрещение воскресных школ, приостановка журналов «Современник» и «Русское Слово»), он, еще так недавно готовый призывать всякие громы на голову «наших ультра-прогрессистов», «ультра-либералов», как он выражался, определяет знаменательным словом «реакция», меланхолически добавляя: «главное неудобство всякой реакции, а особенно нашей, будет в том, что тут правое потерпит наравне с виноватым. Мысли грозит опять застой и угнетение, а мыслящим людям, писателям, ученым—неприязненные нападки невежд и ретроградов».

Приходится сознаться, что при таком направлении правящих сфер, в частности главы министерства внутренних дел, переход Гончарова на службу в это министерство, к тому же на должность, только что оставленную его приятелем Никитенком и оставленную по соображениям идейного и морального порядка, нельзя не признать проявлением своего рода политического индифферентизма. В роли редактора «Северной Почты»—Гончаров проявил исключительную работоспособность, но от преследовавших его скуки и тоски не избавился. В письме к Д. Л. Кирмаловой от 5-го декабря читаем: «Ну что сказать? Сказал бы скучно, пора перестать жить, да некогда и подумать об этом. Работа поглощает меня всего, а это имеет именно ту хорошую сторону, что не дает замечать времени, жизни. Равнодушие ко всему делает меня до того прилежным, что министр третьяго дня выразил удивление, сказав, что он не ожидал от меня, или что ожидал всего, кроме трудолюбия, считая меня за Обломова. А я ему давно сказал, чтобы он не ожидал от меня ничего кроме этого, и до сих пор пока держу слово. Никуда не хожу, ничего не читаю, кроме «Северной Почты», а там, как видишь, читать нечего, да и не нужно. Эта газета не для чтения,

а для узнания официальных новостей и кое-каких статистических сведений».

В июле 1863 г. Гончаров оставил редактирование официоза и вернулся к привычным для него обязанностям чиновника цензурного ведомства, получив назначение на должность члена вновь учрежденного при министерстве внутренних дел высшего цензурного органа — Совета по делам книгопечатания. Автору настоящих строк уже приходилось однажды (в статье «К характеристеке общественного миросозерцания Гончарова», «Северные записки» 1916 г., № 9) останавливаться на том, как проявил себя Гончаров на новой службе в отношении современных ему литературных и общественных течений. По прежнему он был довольно таки терпимым цензором и иной раз, при поддержке А. В. Никитенко, отстаивал интересы неизменно подозреваемых в тайной крамоле печати и журналистики. Но с другой стороны, Гончаров был очень озабочен тем, чтобы заслужить доброе расположение всевластного тогда П. А. Валуева. В этих, без сомнения, видах он в одном из своих отзывов усиленно подчеркивает, что резолюции Валуева имеют, в его глазах значение непререкаемого авторитета. Приступая к обсуждению заподозревающей искренность всеподданнейших обращений поляков заметки в 39-м № газеты «День» за 1863 г., он прямо говорит, что раз министр «не изволил приписать особой важности» отмеченному им в предыдущем отзыве «обстоятельству», т. е. неполитичности и несвоевременности подобных заявлений, то он, Гончаров, воздерживается от всякого заключения относительно новой заметки на тот же предмет. Конечно, отсюда еще очень далеко до молчалинского принципа, что если «в чинах мы не больших», то, следовательно, нам «не должно сметь свое суждение иметь», но все же в данном случае хотелось бы встретить со стороны Гончарова больше прямоты и твердости в отстаивании своих взглядов. Другой отзыв (о 50-м № «Дня» за 1863 г.)

Гончаров начинает с того, что он-де «считает нелишним остановиться» на такой-то статье, так как предыдущая статья аналогичного содержания обратила на себя внимание министра. Наконец, в отзыве о 19 № «Дня» за 1865 г., Гончаров находит нужным выступить с целым объяснением, почему он не довел до сведения Совета об одной статье, которая, как выяснилось потом, обратила на себя внимание в министерстве внутренних дел. Проявляемая Гончаровым забота о сохранении о себе доброго мнения начальства не осталась безрезультатной. Когда, согласно закону 6-го апреля 1865 г., сформировался, вместо старого совета по делам книгопечатания, новый совет главного управления по делам печати, то Гончаров получил назначение в этот последний, чего удостоились не все его сотоварищи по первому.

Весьма симптоматическим в этом отношении был разговор Валуева с Никитенком, сопровождавший отставку этого последнего. Прямо поставив вопрос о том, «не угодно ли» Никитенку удалиться из совета, Валуев, как бы мотивировал свое предложение такими соображениями: «При новом устройстве цензуры легко может случиться — этого даже необходимо ожидать, особенно вначале — что лица, принадлежащие к этому управлению, не раз будут поставлены в положение, не слишком для них приятное, будут предметом взысканий и пр. А этого ни по вашему имени, ни по вашим заслугам с вами нельзя будет допустить. Новая система требует новых деятелей — новое вино вливается в новые мехи». Таким образом, Валуев прямо намекнул Никитенку, что деятели главного управления по делам печати будут трактоваться им, не как члены самостоятельной авторитетной коллегии, а как обыкновенные чиновники. За Никитенком же, несмотря на его более чем умеренные взгляды и на многочисленные компромиссы его жизни, установилась репутация человека самостоятельного, умеющего

постоять и за себя и за искренно любимую им литературу, хотя бы в тех рамках, которые он считал необходимыми для свободного выражения в ней мнений. Чем он не угодил Валуеву, это Никитенко и сам превосходно понимал. Свой рассказ о беседе с Валуевым он заканчивает следующими словами: «Понятно, что ему хочется от меня избавиться. Я все время открыто высказывался против его проекта, напирал на необходимость расширения прав совета и ограничения произвола министра. Теперь, когда его проект восторжествовал, и он является полновластным хозяином в совете, мое присутствие там мозолило бы ему глаза, да и что в самом деле, делал бы я теперь там? Дело печати проиграно, и я, действительно, был бы лишен возможности ему честно и независимо служить, как это делал до сих пор».

Мы просим читателя обратить особое внимание на последние слова, так как они позволяют утверждать, что Гончаров совершил одну из тягчайших сделок со своей совестью, решившись принять должность, которая по нравственным и идейным мотивам оказалась решительно неприемлемой для Никитенка, отнюдь не превосходившего его либерализмом своих воззрений. Едва ли его может оправдать ссылка на то, что он де был недостаточно осведомлен в истинном положении вещей. Против нее говорит вполне определенно установленный факт близких приятельских отношений между ним и Никитенком, не оставляющий никаких сомнений в том, что Гончаров был в курсе всех никитенковских дел, в том числе и его разговоров с Валуевым. Правильнее, в видах строгого беспристрастия, объяснить поведение Гончарова влиянием некоторых присущих его характеру черт.

Осенью 1861 г. в разговоре об известной студенческой истории Гончаров, узнав, какую позицию занял Никитенко в отношении студентов, счел долгом посоветовать ему «быть осторожнее»: вчера-де он обедал в клубе и слышал,

как некоторые порицали его за то, что он «не одобряет подвигов студентов». «А вы их одобряете»?, спросил Никитенко Гончарова. «Нет», отвечал тот. «Значит и вас порицали»? «Он замялся»... Этот разговор записан в «Дневнике» Никитенко под 4-м октября. Под 5-м же в «Дневнике» находим следующее место, относящееся, без сомнения, к Гончарову, хотя имя его здесь и не названо: «Опять был у меня мой приятель, и мы с ним долго беседовали. Он, по своей неизмеримой лени и апатичности, по своему политическому и нравственному индиферентизму, советывал мне быть и так и сяк. Но этот способ, очень смахивающий на двуличность и подлость, я считаю для себя непригодным. Да при том в настоящее время это легче советывать, чем исполнять. Конечно безопаснее итти туда, куда ветер дует; но ветры нынче дуют разные и даже противные друг другу. В такое время всякий честный деятель обязан определиться, быть чем, а не всем, т. е. ничем».

Оставляя в стороне квалификацию Никитенком того, что советовал ему Гончаров, запомним то определение его личности, которое дается здесь его близким приятелем: неизмеримая лень и апатичность, политический и нравственный индиферентизм... Думается, что этих свойств вполне достаточно, чтобы ими более или менее удовлетворительно объяснить рассматриваемый поступок Гончарова.

Как бы то ни было, с сентября 1865 г. Гончаров входит в состав совета главного управления по делам печати, т. е. при сложившейся в то время и посильно выясненной нами обстановке, поворачивает руль в сторону валуевского фарватера. Фарватер же этот все более и более определялся, чуть ли не с каждым новым днем деятельности главного управления по делам печати. Как бы в ответ на те славословия, которыми большая часть русской прессы приветствовала введение в действие нового закона о печати

(см. № 229 «С.-Петербургских Ведомостей», № 199 «Московских Ведомостей», № 244 «Голоса», № 31 «Дня» — все за 1865 г.), главное управление засыпало ее предостережениями, этим вновь изобретенным средством воздействия на литературную братию. История этих первых предостережений достаточно подробно рассказана в специальных работах о цензуре 60-х годов (напр. в книге М. Лемке «История цензурных реформ 1859—1865 годов»), а потому, не останавливаясь на ней особо, отметим, что она чрезвычайно ярко свидетельствует о беспощадной строгости и самого Валуева и его детища — главного управления по делам печати,

Как ни велики были «лень и апатичность» Гончарова, в какой мере ни был присущ ему «политический и нравственный индиферентизм», он, как человек с живой душой, как писатель с общественным уклоном, не мог не задыхаться в подобной атмосфере. С него, в значительной степени, соскочила даже хваленая его уравновешенность, и в задушевных беседах с Никитенком он, не стесняясь, изливал свою душевную тоску. Вот одна из этих бесед, относящихся к декабрю 1865 года, в передаче «Дневника» Никитенка: «Вечер просидел у меня Гончаров. Он с крайним огорчением говорил о своем невыносимом положении в совете по делам печати. Министр смотрит на вопросы мысли и печати, как полицейский чиновник; председатель совета Щербинин есть ничтожнейшее существо, готовое подчиниться всякому чужому влиянию, кроме честного и умного, а всему дает направление Фукс и делопроизводитель. Они доносят Валуеву о словах и мнениях членов и располагают его к известным решениям, настраивая его в то же время против лиц, которые им почему-либо не угодны. Выходит, что дело цензуры, пожалуй, никогда еще не было в таких дурных, т. е. невежественных и враждебных мысли, руках».

Психологический источник тяжелого душевного состояния Гончарова, так явственно здесь сказавшегося, указан тем же

Никитенком в следующих замечательных словах его «Дневника», тем более замечательных, что они являются плодом долголетнего служебного опыта. «Всякий чиновник есть раб своего начальника, и, право нет рабства более жестокого и позорного, чем это рабство. Чиновник еще счастлив, если он глуп: он тогда, пожалуй, даже может гордиться своим рабством. Но если он умен, положение его ужасно. Он должен насиловать перед свои господином свою волю, свои чувства, свои убеждения, и как вообще начальник не любит в подчиненном ума, то этот подчиненный каждую минуту должен трепетать или за свою честь, или за свой жребий... Понимая это, он поставлен в необходимость льстить, делать вид, что он разделяет взгляды и убеждения своего начальника, когда он вовсе их не разделяет, и когда его собственные мнения диаметрально противоположны мнениям, которые он, однако, должен чтить, как закон. Кто в состоянии эмансипировать этих рабов в таком бюрократическом государстве, как Россия, где, кроме того, произвол начальника не находит нигде обуздания—и общественное мнение ему нипочем».

Другим обстоятельством, усугублявшим тяжесть положения Гончарова, являлось то, что он, как популярный писатель—один из первостепенных членов блестящей плеяды 40-х годов, не мог оставаться равнодушным к общественному мнению, когда-то увенчавшему его славой, а теперь начинавшему отворачиваться от него. Да что общественное мнение, когда деятельность главного управления по делам печати, а вместе с тем и его собственная, подверглись осуждению даже в бюрократических кругах, не исключая очень близких по своему служебному положению к Валуеву. Все в том же драгоценном источнике «Дневнике» Никитенка мы находим и на этот счет не безынтересное указание. Никитенко передает о всеобщем негодовании, возбужденном предостережением, данном благонамереннейшей «Вести», а в осо-

бенности преданием суду Краевского—редактора очень умеренного «Голоса»—по статье, карающей не более не менее, как каторжными работами, за невинную заметку о притеснении администрацией раскольников, при чем так заканчивает свой рассказ: «Сам товарищ министра (внутренних дел) видит большой промах в этом деле со стороны министерства. Он с жаром выговаривал это (Гончарову), который тут же и отвечал (что же ему было делать?). У него ни горла, ни легких не хватило кричать против решения совета, да и притом, как тут поступать, когда делается внушение свыше, т. е. со стороны министра. Тройницкий сильно напал на это последнее выражение. Мне даже жаль стало бедного (Гончарова)».

Нужно ли говорить, какой унизительный характер приобретало это заслуженное сожаление, обращенное на того, кому, по богатству отпущенных на его долю даров природы, можно было скорей завидовать.

Из данного эпизода видно, между прочим, что Гончаров иногда, хотя и без надежды на успех, протестовал против казавшихся ему чересчур суровыми решений совета, но это, повторяем, происходило только иногда. Вообще же в силу неумолимой логики вещей, отразившейся в известных народных поговорках: «назвался груздем—полезай в кузов», «взялся за гуж—не говори, что не дюж», Гончаров начинает под иным углом зрения, чем раньше, смотреть на печать и мало-по-малу вступает на путь репрессий. Этот путь вскоре приводит его к таким деяниям, которые, разумеется, отнимают уже какую бы то ни было возможность говорить об его цензорской терпимости.

В бытность свою членом главного управления по делам печати Гончаров проявляет удивительную, несколько неожиданную для человека его склада и темперамента, энергию в преследованиях, направленных против литературных представителей нигилистического направления, главным образом, против Д. И. Писарева и его органа—журнала «Русское Слово».

В статье нашей «Писарев и охранители» («Голос Минувшего» 1919 г., № 1—4) доказано, какую роковую роль сыграли отзывы Гончарова в истории гибели журнала «Русское Слово». Так, первое предостережение этому журналу было объявлено за статью Писарева «Новый тип» в № 10, которую Гончаров аттестовал (см. отзыв о 10 № «Русского Слова», напечатанный Военским в «Русском Вестнике» 1910 г., № 10) такими далеко не отличающимися объективностью выражениями, как «поразительный образец крайнего злоупотребления ума и дарования», «буйно-младенческий лепет», настаивая на применении к журналу «мер строгости», т. е. объявления предостережения. На совести Гончарова лежит и второе предостережение журналу, поводом к которому послужила известная статья того же Писарева «Исторические идеи Огюста Конта» в 11-м № журнала за 1865 год (предостережение было помечено 8-м января 1866 г., что объясняется поздним выходом книги). Обвиняя Писарева в «явном отрицании святости происхождения и значения христианской религии» (см. нашу статью в «Голосе Минувшего», 1916 г., №№ 11—12), писатель-цензор доказывал, что в данном случае следует прибегнуть уже не к административной каре (предостережение), а к судебному преследованию. Последующая судебная практика по делам печати показала, что самое строгое судебное разбирательство предпочтительнее для обвиняемых, чем предостережение, но когда Гончаров писал свой отзыв, эта практика еще не установилась, а потому думать, что Гончаров требовал суда над Писаревым, желая применения более мягкой меры воздействия, отнюдь не приходится, скорее наоборот: Гончарову искренно хотелось, как он и заявляет в отзыве, чтобы «наказание» не миновало «главного виновника» и чтобы «он первый был бы подвергнут ответственности». Если принять во внимание, что все это писалось, когда Писарев уже четвертый год сидел в легендарном Алексеевском равелине и долго дол-

жен был еще там просидеть, то нельзя не подивиться той жестокости, которую проявил в данном случае Гончаров, требуя нового суда над ним.

Старания Гончарова на этот раз не увенчались успехом, и совет главного управления по делам печати ограничился объявлением «Русскому Слову» второго предостережения. За ним последовало и третье не без влияния нового отзыва Гончарова («Голос Минувшего», №№ 11—12) за некоторые статьи 12-го № за 1865 год и № 1 за 1866 г., при чем журнал был приостановлен на пять месяцев. Во время приостановки, в связи с покушением Каракозова, «Русское Слово» было вовсе запрещено. Прежде, чем это произошло, Гончарову представился случай еще раз обрушиться на Писарева за возглавляемое им направление в отзыве о сборнике «Луч», издание которого было предпринято редакцией «Русского Слова» в целях удовлетворения подписчиков.

Насколько прочным являлось отрицательное отношение Гончарова к нигилизму и его литературным выразителям, можно видеть из того, что уже в 1867 г., почти что накануне завершения своей государственной службы, Гончаров в обстоятельном «Отчете об общем направлении периодических изданий, порученных его наблюдению, с 1 сентября 1865 г. по 1 января 1867 г.», наиболее внимания уделяет «Русскому Слову» и его критику, рассматривая их все под тем же односторонним углом зрения. Из печатаемых ниже отрывков этого «отчета» читатели убедятся, что он имеет первостепенное значение для выяснения основ общественно-политического миросозерцания Гончарова. То, что читается между строк, посвященных Марку Волохову и в сравнительно в очень сдержанном тоне написанных страниц «Обрыва», то, что бегло и конспективно отмечено в цензорских донесениях Гончарова об отдельных номерах «Русского Слова» и статьях этого журнала, сведено в печатаемом ниже документе в единый фокус, изложено в сильных и, с точки

зрения автора, доказательных выражениях. Благодаря этому крайняя тенденциозность автора выявляется, быть может, отчетливее, но значение документа с общественной, историко-литературной и психологической стороны только выигрывает.

«Русское Слово».

«Появление этого журнала в русской периодической прессе, направление, успех пропаганды—было предметом не одного только наблюдения цензурной администрации, но и особенного перед другими журналами контроля всей публики.

«Нигде здравомыслие и благонамеренность большинства современного русского общества не высказалось с такою отрадною и непогрешительною справедливостью, как в той неумолимой оценке, которою оно определило деятельность означенного органа печати, чем, конечно, вернее и прочнее всяких мер ограждало младших членов своих от серьезных опасностей нравственной порчи...

«Решительное распоряжение высшего правительства в мае прошлого года, помимо указанного законами 6-го апреля порядка, о совершенном прекращении «Русского Слова» одновременно с журналом «Современник», окончательно успокоило основательные опасения здравомыслящей публики относительно вредного влияния пропаганды журнала на юное, особенно учащееся, поколение...

«В двух последних книжках, ноябрьской и декабрьской, выразилась с особенною сосредоточенностью вся сумма того вреда, который, с продолжением журнала, угрожал растлением умов и добрых нравов юного поколения, хотя, с другой стороны, нельзя не заметить, что замыслы и тенденция редакции и сотрудников журнала обнаруживаемы были ими в таком блеске лжи, с таким отсутствием здравых понятий, прочного ученого образования и притом в таких грубых, не прикрываемых даже обыкновенною журнальною тактикою формах, что самое зло, разносимое этим жалким органом прессы, разносило с собою же и противоядие, отрезвлявшее от

пристрастия к нему и его поклонников. Литературный, малочисленный кружок участников этого журнала резко отделялся от деятелей прочей прессы. Имена редакторов и главных сотрудников приобрели известность в публике не столько дарованиями, сколько отчаянною эксцентричностью и парадоксальностью мнений, порождавших нередко смех, и ребяческим, доходившим до абсурда, рвением провести в публику запретные плоды новых и соблазнительных всего более для них самих и для юных, неразвитых умов читателей, а в сущности уже по достоинству оцененных здравыми умами и наукою жалких и несостоятельных доктрин материализма, социализма и коммунизма...

«Русское Слово», как сказано выше, не прибегало даже к обыкновенной журнальной тактике, старающейся усыпить или отвлечь цензурную бдительность известными уловками. Редакция бесхитростно подбирала в каждой книжке в один букет самые яркие цветы фальшивых и жалких теорий и одуряющих неопытную молодежь учений. Владея только литературной грамотностью и самым поверхностным образованием, при полном отсутствии систематического ученого воспитания, авторы и переводчики помещаемых статей спешили перенести с ребяческим жаром, как будто великие, открытые ими тайны, в нашу печать весь хлам самых грубых, большею частью осмеянных или забытых на Западе доктрин и тенденций, выбирая из них самый едкий сок или бросающиеся в глаза нелепостью крайности.

«Проводя, например, отрицание современного социального порядка, они переносили на страницы журнала положения Роберта Овена, Сен-Симона, Бабефа и Фурье, последнего даже со всем его сумасбродством, объявляя их какими-то спасителями, пророками и единственными великими деятелями человеческого общества, несмотря на то, что ни один из этих писателей на Западе не признан таковым и что такое отважное и безусловное навязывание непризнанных

большинством европейского общества авторитетов должно уже само по себе возбудить в русской публике недоверие, как к ним самим, так и к их панегиристам.

«Вот краткий очерк, в общих чертах, главных нарушений правил печати в последних книжках «Русского Слова», появившихся со времени обнародования указа 6-го апреля и вызвавших ряд строгих мер со стороны Главного Управления по делам печати. В экономических статьях (каковы «Рабочие ассоциации» и «Производительные силы Европы» и других) авторы также настойчиво и отважно стараются навязать своим читателям убеждения, как безапелляционный непогрешимый вывод, что все недуги, бедствия, все материальное и нравственное зло общества происходит от ненормального экономического строя, от неравного распределения земель, доходов и труда, от тяжелой производительной силы низших классов в пользу тунеядной потребительности высших, от того, что все создается руками бедных к роскоши и удовольствию привилегированных классов и т. д... Далее, в критической статье «Идеи Огюста Конта» — в ноябрьской книжке и отчасти в статье «Развитие органического мира»—в первой под прикрытием довольно ловкой диалектики, впрочем, прозрачно, а во второй наивно, проводится отрицание божественного происхождения христианской религии и вообще творческой и зиждительной миродержавной силы...

«Такое явное и наглое посягательство поколебать священный авторитет религии в глубоко и всеобще проникнутом ею самом христианском государстве целого мира, когда нет никаких симптомов в народной массе и обществе колебания в основных началах религии или охлаждения к ним, может быть возможного и отчасти существующего в одряхлевшем католицизме, явно обличает в авторах бессмыслие, незрелость и жалкое самохвальство вольнодумства и доказывает, что отрицание и этого рода, т.-е. религиозное, так же как и социалистические и коммунистические теории, родилось не на

русской почве, не в недрах русского коренного общества и воспитания, а пробралось, в качестве контрабанды, с запада, где частые политические передвижения в судьбах некоторых государств, борьба национальностей между собою, спорные и неустойчивые отношения случайных правительств к народам, наконец борьба с католицизмом и тому подобные обстоятельства и столкновения породили и распространили в обществах дух постоянных оппозиционных и революционных начал, отражающихся почти на всех явлениях общественной жизни.

«В этом отношении, как можно, кажется, безошибочно заключить, между Россией и Европой лежит целая бездна. История и вся судьба нашего отечества сложилась иначе. Силы русского духа и ума, действующие по другим историческим началам и законам, и самое географическое положение, обширность территории, условия племенных различий нашего народа и многое другое спасают Россию от тех тревог и того рода зла, с которым борются многие государства Европы.

«По этим причинам дух буйного недовольства, тайной и явной оппозиции правительству, развитие вредных антирелигиозных и революционных начал никогда не могут быть общим, всеобъемлющим явлением русской жизни. Некоторые симптомы того, другого и третьего зла появились в виде какого-то поветрия в недавнее время в самом молодом поколении: показались зловещие признаки атеизма, отрицания нравственности и других начал жизни. Благомыслящее большинство встретило появление этого зла с недоумением, основательно относя его к разряду свойственных юности увлечений, но когда зло это стало разрешаться уродливыми, прискорбными и, наконец, преступными явлениями в сфере практической жизни, приняты были со всех сторон материальные и нравственные меры к разъяснению источника этих неестественных порождений и к преграждению дальнейшего разлива зла, в чем нельзя не заметить почти совершенно в настоящее время достигнутого успеха.

«Общество метко обозначило зло именем нигилизма и после тщательного исследования убедилось, что оно кроется в незначительном круге самой юной, незрелой и неразвитой молодежи, ослепленной и сбитой с толку некоторыми дерзкими и злонамеренными доморощенными агитаторами, ныне удалившимися или удаленными мерами правительства с поприща деятельности.

«Причины порождения нигилизма можно, кажется, объяснить, во 1-х, отчасти недостаточностью, ныне уже сознанною и пополненною, прежнего воспитания в некоторых низших военных, духовных и других учебных заведениях, не удовлетворявшего любознательной жажде молодых умов, которые спешили жадно пополнять скудный запас знаний и, не будучи руководимы строгим педагогическим методом, обольщались фальшивым блеском крайних, новых теорий в науках и начал в жизни, а во 2-х, пропагандой как своих доморощенных агитаторов, начиная с Герцена и его заграничных изданий, так и польских эмиссаров и ссыльных, разносивших по России, вместе с пожарами, и пропаганду гибельных начал. Но трезвое большинство и юных поколений, или вовсе было чуждо пропаганде нигилизма, или, увлекшись на минуту, из духа подражания и ложного, свойственного юности, самолюбия, отрешалось от него при первом соприкосновении с опытом и жизнью. Оставались и, может быть, остаются еще под влиянием этого мрака жалкие юноши-бродяги, не нашедшие приюта в высших учебных заведениях или изгнанные оттуда, безнадежно-испорченные, без правил и убеждений, или, наконец, сознательно избравшие нигилизм знаменем, как спекуляцию, для достижения денежных выгод или популярности и влияния в кругу юного поколения»...

Таким представляется общественно-политическое миросозерцание Гончарова в исходе 60-х гг.

VIII

Работа над «Обрывом». Вопрос об источниках романа. Его социальный смысл. Художественные достоинства и недостатки.

Вскоре после прекращения, на этот раз уже окончательного, чиновничьей службы Гончарова, началась его интенсивная работа над «Обрывом». По признаниям самого Гончарова, роман этот задуман был им в 1849 году, когда он, после 14-ти летнего отсутствия, приехал повидаться с родственниками на Волгу.

Тут толпой хлынули на него старые, знакомые лица, он увидел еще не отживший патриархальный быт и вместе новые побеги, смесь молодого со старым. Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздух, воспоминания детства—все это залегло Гончарову в голову и почти мешало кончать «Обломова», которого написана была 1-я часть.

Гончаров «унес новый роман, возил его вокруг света в голове и программе, небрежно написанный на клочках—и говорил, рассказывал, читал вслух всем, кому попало, радуясь своему запасу». С конца 50-х гг., по возвращении из кругосветного плавания, напечатав «Фрегат Палладу» и «Обломова», Гончаров «весь отдался» «Обрыву», который известен был тогда в кружке его друзей и знакомых под именем «Художника».

Но работа в общем подвигалась медленно: Гончаров «все сомневался в своих силах, все не доверял себе, все справлялся с мнением и впечатлением других, рассказывая все

до подробности Боткину, Дудышкину, Дружинину и более всего одному, еще живому литератору, требуя мнения, совета, но советов ни от кого не получал и кончал тем, что приводил все медленно, после тщательной отделки, к концу». Всего более затрудняла Гончарова «архитектоника, сведение все массы лиц и сцен в стройное целое». Начало романа не удовлетворяло автора. Ему справедливо казалось, что эпизоды, посвященные Софье Беловодовой и умирающей Наташе, вышли бледными. Это происходило, между прочим, оттого, что он «торопился и смотрел дальше в глубину романа», его «влекли уже близкие ему лица и места, где он родился и вырос: лица бабушки и внучек, всего провинциального люда и дворни». Он уже мог «писать с живых лиц» тем более, что летом 1862 года ему снова удалось побывать на родине и обновить в своей душе впечатления от места действия и типов своего нового романа. Но в этом же 1862 г., Гончаров, как мы знаем, снова определился на службу, которая брала у него столько времени и сил, что работа над «Обрывом» должна была очень и очень затормозиться. Только выйдя в отставку, Гончаров получил возможность уделить ей столько внимания, сколько было нужно для окончания романа. К марту 1868 года роман, хотя и далеко не был отделан, но в такой мере уже оформился, что можно было думать об его печатании. В конце марта начались переговоры между Гончаровым и М. М. Стасюлевичем, редактором «Вестника Европы», о напечатании «Обрыва» на страницах этого журнала, и 22-го апреля Стасюлевич с торжеством возвещал своей жене о том, что они «с Гончаровым порешили дело». Прежде чем «порешили», Гончаров в интимном кружке своих ближайших друзей, в присутствии Стасюлевича, в несколько продолжительных сеансов прочел «Обрыв». Несмотря на восторженные похвалы слушателей, автор хорошо сознавал, что ему не обойтись без кропотливой переделки и переработки написанного. В письме Гончарова

к Стасюлевичу от 7 (19) мая 1868 г. указана и причина, вызывавшая необходимость таких переделки и переработки. «И я, и Райский, говорится здесь, оба кланяемся и благодарим Вас за память... Он бодрится, охорашивается, притоптывает ногой, бравирует, скрывая тем свою старость, которой дождался в заключении. А сам хромает на обе ноги, чувствует, что давно утратил всякий образ и даже некогда модный пиджак его обратился в Тришкин кафтан. Словом он неудачник вполне, а Вы тащите его на свет»!.. Отсюда видно, что Гончаров очень хорошо сознавал, что роман его, задуманный в 1849 г. и заканчиваемый в 1868 г., т.-е. двадцатью годами позднее, должен был, поскольку он претендовал на изображение современных общественной жизни и типов, утерять свой характер современности, должен был несколько устареть; особенно в этом отношении боялся Гончаров за Райского. Само собой разумеется, что Гончаров был вполне прав в этих своих опасениях, и ему предстояла, на самом деле, в высшей степени ответственная и сложная работа: старое обновить настолько, чтобы оно могло сойти за новое. Для нас является вопросом, может ли, вообще говоря, подобного рода работа иметь успех? Не был уверен в ее благоприятном исходе и Гончаров. Во всяком случае, никогда самый процесс литературного творчества не повергал его в состояние такого мучительного и болезненного напряжения духовных сил. Каждая неудача в работе, а также чисто внешние обстоятельства, препятствовавшие ей, заставляли его испытывать пароксизмы жестокого уныния. Временами Гончаров, измученный непосильным для его стареющей психики напряжением, поддавался приступам форменной душевной болезни, о силе и интесивности которых можно судить по целому ряду его писем к Стасюлевичу. Мы не знаем не только в истории русской, но и всемирной литературе другого такого примера, чтобы писатель, постигнутый несомненным и тяжким психическим недугом, был бы

в состоянии с такими напряженностью и продуктивностью работать, как работал Гончаров за границей, летом 1868 г. Но не дешево стоила ему эта работа. Иной раз он не мог удержаться от настоящих воплей, зафиксированных его перепиской со Стасюлевичем.

«Во мне теперь кипит, читаем в письме от 26-го мая, будто бы в бутылке шампанского, все развивается, яснеет во мне, все легче, дальше, и я почти не выдерживаю один, рыдаю как ребенок и измученной рукой спешу отмечать кое-как, в беспорядке. Я все забыл другое, все... во мне просыпается все прежнее, что я считал умершим»...

А вот несколько строк из письма от 30-го мая: «Вы не посмеетесь над тем, что бог мне дал — это бы значило бить меня по самому больному или смертельному месту. Райский — это моя подложечка... задача становится все глубже, значение ее растет — и мне делается страшно самому — дай бог сил выполнить, и я умру покойно... Что за мечты лезут: — да, лезут: фантазия — это своего рода такой паровик, что дай бог только, чтоб котел не лопнул!..»

К счастью для Гончарова и для русской литературы «котел» оказался довольно прочным, и после длительной полосы колебаний, сомнений, тревог, иной раз приводивших к решению не печатать «Обрыва» вовсе, хотя бы для этого пришлось нарушить договор со Стасюлевичем, роман все же был переработан, и в первых пяти книжках «Вестника Европы» за 1869 г. увидел свет.

Вчитываясь в содержание романа и относящиеся к нему страницы авторской исповеди Гончарова «Лучше поздно, чем никогда», нельзя не придти к заключению, что и это произведение Ивана Александровича выросло как из объективных наблюдений над явлениями окружающей жизни, так и из самонаблюдения.

На центральное лицо «Обрыва» Райского Гончаров устанавливает такой взгляд: «В Райского входили сначала

бессознательно для меня самого, и многие типические черты моих знакомых и товарищей» — иными словами, что Райский — представитель современного общества, и тип его создался на основе наблюдения «над многими нашими интеллигентными людьми, считавшимися передовыми».

Что касается бабушки, то ее Гончаров «писал с русской старой хорошей женщины, или с русских старых женщин старого доброго времени... В бабушке и во внучках ее вкрались некоторые светлые, лучшие черты близких ему лиц, конечно, не целиком, а типично, при совершенном различии в событиях и смысле романа».

В статьях М. Суперанского о Гончарове («Вестник Европы», 1908 г., № 12), мы находим важное сообщение, расшифровывающее это признание автора. Симбирские родные Гончарова передавали, что, будучи в Симбирске, Иван Александрович часто посещал семейство Рудольф, где были две сестры жены его брата — девицы. Старшая из них Аделаида Карловна (вышедшая потом замуж за Дмитриева, брата поэта), очень ему нравилась своей серьезностью, начитанностью и светлым и правдивым умом. Он одно время увлекался ею и проводил целые часы в разговорах с ней. Она поразила его своею силою воли и характера, и ее черты находили впоследствии в его «Вере», героине «Обрыва». Другая, младшая сестра, Эмилия Карловна, была беззаботное, веселое существо, любила заниматься хозяйством, кормить кур и коров. У нее до сих пор хранится какой то старый календарь, на котором сделана Иваном Александровичем надпись: «Кузине миленькой, — кузине маленькой, — кузине — пьющей молоко». Не она ли послужила прототипом Марфиньки?

Наконец, по категорическому заявлению автора, крепостная Мессалина Марина и ее угрюмый сосредоточенный муж — «живые, действительные портреты тогдашней дворни, как и лакей Егор».

Приведенных примеров с избытком достаточно, чтобы доказать, какую роль в создании «Обрыва» имели авторские наблюдения над миром окружающей его действительности. Но какой, преимущественно действительности? Действительности, отнюдь не чуждой Гончарову, а наоборот лично, субъективно ему близкой. «В моих лицах «Обрыва», признается Гончаров, много близкого и родного автору, и заметно пробивается кровная его любовь к ним». Однако, этим, конечно, не исчерпывается субъективный элемент в «Обрыве». Е. А. Ляцкий рядом сопоставлений старается доказать, что «Райский слишком прозрачная ширма, за которой скрывается Гончаров». Действительно, и в биографиях Райского и Гончарова, в особенности, поскольку речь идет о годах отрочества и юности, и в их органическом тяготении к искусству и красоте, и в их миросозерцании, не трудно уловить общее. Но, само собой разумеется, что только при крайне, хотя, быть может, и бессознательно, тенденциозном отношении к вопросу, Райского можно назвать ширмою Гончарова. Предшествовавшая глава, посвященная характеристике служебной деятельности Гончарова в министерстве внутренних дел позволяет с полной уверенностью утверждать, что Гончаров неизмеримо ближе к старшему Адуеву, чем к неуравновешенному художнику — диллетанту Райскому. И ничуть, конечно, не противоречит этому выводу тот факт, что Райскому присуще кое-что субъективно Гончаровское.

Констатировав наличность двух элементов в содержании романа — объективного и субъективного, перейдем к выяснению его общественного смысла.

Как уже неоднократно нами указывалось, Гончаров в отношении «Обрыва» выдвигал и поддерживал ту версию, что в этом романе он хотел изобразить период «Пробуждения», соответственно тому, как в «Обломове» изображал период «Сна». Период «Пробуждения», время, когда зна-

чительная часть русской молодежи была вовлечена в нигилизм, когда появились Марки Волоховы со своим отрицанием небесных и земных авторитетов — это, несомненно, 60-е годы. С другой стороны, не мало фактических доказательств, основанных на содержании романа, может быть приведено в подтверждение того, что в романе изображена эпоха, предшествовавшая освобождению крестьян, если не 40-е, то, во всяком случае, 50-е годы. Бабушка управляет в имении Райского, как полновластная рабовладелица, имеющая право сослать «крепостную дворовую девку», замеченную в дурном поведении, в дальнюю деревню. Тит Никоныч свадебный подарок Марфиньке заставил нести из своей родовой вотчины шестерых человек, на руках, попеременно, «чтоб не разбилось». Райский, отзывающийся, между прочим, о Вере, что «она рабов любит», обращается к бабушке с просьбой отпустить мужичков на волю. С другой стороны, напрасно мы стали бы в романе искать каких-либо упоминаний о железных дорогах, пароходах. Райский, явным образом, долженствующий являть собой «человека сороковых годов», представлен еще молодым. Такое смешение эпох, приводящее к абсурдному водворению нигилиста в обстановку еще не отмененного крепостного права, является не только крупнейшим художественным дефектом романа, но и обстоятельством, существенным образом подрывающим его общественное значение. Роман много выиграл бы и в художественном и в общественном отношениях, если бы Гончаров устранил из него фигуру нигилиста Марка Волохова, тем более, что, как будет показано ниже, этого последнего ни в коем случае нельзя рассматривать как типичного представителя олицетворенного в его лице течения; он не более как недоброжелательная пародия на него. Но на устранение Марка Волохова Гончаров, разумеется, ни в коем случае не согласился бы. Здесь в художнике говорил чиновник цензурного ведомства, который, как раз накануне окончательной

обработки «Обрыва», свирепо расправлялся с реальными представителями нигилизма в литературе и журналистике, как это мы и видели, знакомясь с историей систематических, упорных и беспощадных гонений, которым Гончаров подвергал Писарева.

Оговорив хронологический lapsus, в силу которого шестидесятник Волохов оказался перенесенным в 50-е годы, присмотримся поближе к главным действующим лицам «Обрыва».

Райский — лицо хорошо знакомое русской читающей публике по романам Тургенева. В Райском есть кое-что и от Рудина, и от Шубина («Дворянское гнездо») и от братьев Кирсановых. Это типичный представитель эпохи 40-х годов, и трудно лучше характеризовать его, чем это сделал сам Гончаров в статье «Лучше поздно, чем никогда». Самостоятельно ли, под влиянием ли Добролюбова Гончаров в основу этой характеристики кладет утверждение, конечно, совершенно правильное, что «Райский — прямой ближайший сын Обломова», и что вследствие этого, хотя «сильный, новый свет блеснул ему в глаза», хотя «умом и совестью он принял новые животворные семена», «но остатки еще не вымершей обломовщины мешают ему обратить усвоенные понятия в дело». Его попытки принять участие в государственной и общественной деятельности терпят фиаско, ибо обломовщина мешает ему приобрести мало-мальски серьезную подготовку. Его занятия искусством, к которому он чувствует такое влечение, несмотря на врожденный талант, оказываются бесплодными: «и тут, как гиря на ногах, его тянет назад та же обломовщина». Райский, если и не спит по обломовски, то едва лишь проснулся и хотя «знает, что делать, но не делает». Сила фантазии в подобных Райскому артистических натурах, не будучи направлена на насущное дело, ни на художественное создания, бросается в сферу чувств, во все виды и роды любвей, однако, и в этой сфере, как показывает

пример того же Райского, сплошь да рядом они терпят неудачу за неудачей. Если не считать эпизода с умирающей Наташей, то на всем протяжении романа Райский ни разу не является героем разделенной любви: к нему в равной мере равнодушны и мраморная красавица Софья Беловодова, и обаятельная в своих простоте, наивности и непосредственности Марфинька, и умная, изящная, тронутая новыми веяниями, Вера. Очевидно, в самой психике мятущегося, колеблющегося, раздвоенного, лишенного целостности и непосредственности чувств «человека 40-х годов» есть стороны, препятствующие покорять женские сердца. Счастливыми соперниками Райского в любви к Вере являются Марк Волохов и даже отчасти Тушин.

Ни один из героев Гончарова не вызывал, как известно, таких ожесточенных нападок со стороны критики и публицистики передового лагеря, как Волохов. Это и неудивительно, потому что пером Гончарова, когда он писал Волохова водила не рука одного из великих художников русского слова, а рука цензора-бюрократа, сводившего счеты с порождением ненавистного ему общественного течения. В самом деле, присмотримся повнимательнее к Марку. Этот господин живет в городе, пограничном с Малиновкой (деревней, где разыгрывается действие последних частей романа), куда его выслали на жительство под присмотр полиции. Так как у него нет никаких денег, он занимает их у первого встречного, занимает, конечно, без отдачи. Не имея никаких занятий, кроме охоты, Марк изобретает себе занятия особого рода: он дрессирует бульдогов, чтобы травить ими полицеймейстера, осаждает ночью трактиры и т. д. «Противоправительственная деятельность его» выражается в распространении, где возможно, запрещенных книг, которые у него уцелели, несмотря на то, что он выслан из столицы и живет под надзором полиции. Свой радикализм Марк пытается проявлять в разговорах с Райским и другими,

которые ведет в удивительно наглом и дерзком тоне. Поскольку Марк нигилист, т. е. материалист и революционер, мы вправе были бы ожидать, что автор познакомит нас с основами его философского и социально-политического credo. Ничуть не бывало: философский материализм, социальные и политические мечтания у Марка на заднем плане: на первом плане у него, по удачному выражению одного из критиков, «грязная бесцеремонность, трактирное буйство, любовь к сигарам и жженке и страсть говорить людям свое мнение о них». Гончаров не поскупился в характеристике Волохова на непристойные и неблаговидные поступки. Вот тому несколько примеров: когда Райский приходит к нему, он уговаривает его снять пальто, под предлогом жары; потом надевает пальто Райского и объявляет, что не отдаст его. Не раз позаимствовавшись деньгами у того же Райского, он не устыдился подделать к нему письмо под почерк Веры, чтобы выманить у него нужную сумму. Одним словом, Гончарову понадобилось выставить Марка окончательным негодяем, и он не пожалел никаких усилий, чтобы успеть в этом своем намерении. Мы готовы признать, что он и успел в нем. Но что это ему дало? Нечестные, наглые, циничные люди были всегда и везде. Нет никакого сомнения, что некоторое количество их примкнуло и к модному тогда течению — нигилизму. Но что это доказывает? Ровно ничего! И напрасно Гончаров усиливается поставить знак тожества между негодяем и нигилистом. Вот если бы ему удалось вывести негодяйство Волохова из его нигилизма, тогда он мог бы, хотя до некоторой степени, считать себя удовлетворенным, но, разумеется, этого ему не удалось, да и не могло удасться. Но попытка, к тому же тенденциозная, близорукая, в духе вышеприведенного цензорского отчета о нигилизме, Писареве и «Русском Слове», все же была сделана. Психологически объяснить ее не трудно. Идеолог либеральной буржуазии, единомышлен-

ник Штольца в 40 и 50-х г.г., в 60-е годы Гончаров, не без влияния, конечно, той атмосферы, которая окружала его в министерстве внутренних дел (см. в предыдущей главе выписки из «Дневника» А. В. Никитенко) поддался все усиливавшемуся реакционному поветрию, которое довольно явственно обозначилось в эпоху петербургских пожаров и польского восстания (1862—1863 г.г.), а после выстрела Каракозова в Александра II-го в апреле 1866 г. достигло огромных размеров, не ограничившись правительственными и бюрократическими сферами, но и распространившись на умеренно-либеральные круги общества. Гончаров, по своему положению члена совета высшего цензурного органа, призван был играть активную роль в проведении внушенных реакцией репрессивных воздействий на печать, а это естественным и неизбежным образом вело к тому, что он воспринимал реакционную идеологию и в угоду духу времени и тенденциям своего начальства — министра внутренних дел гр. П. А. Валуева превращался в свирепого гонителя нигилизма. Если в «Обыкновенной Истории» и тем более в «Фрегате Палладе» и в «Обломове» давала себе чувствовать кровная связь Гончарова с буржуазией, обусловившая его горячие в ту пору симпатии промышленному прогрессу, то в эпоху завершения «Обрыва» на Гончарове, числившем за собою 30 лет чиновничьей службы, не могло не сказаться влияние идей, вдохновлявших чиновников-охранителей. Здесь же не лишнее будет отметить, что у Гончарова с Писаревым, наиболее ярким воплощением нигилизма, были счеты и иного характера. В 1861 и 1863 г.г. на страницах «Русского Слова» появились весьма резкие статьи Писарева о Гончарове, как авторе «Обыкновенной истории» и «Обломова». В особенности обидным должно было быть для Гончарова в этих статьях то, что, сопоставляя его с Тургеневым и Писемским, Писарев отдавал предпочтение двум последним. Если принять во внимание, что в начале 60-х г.г., под впечатлением только

что закончившегося третейского суда между Гончаровым и Тургеневым, отношения между ними были прерваны, и чувство недоброжелательства, в отношении Тургенева, недоброжелательства, смешанного с завистью, достигло в душе Гончарова наибольшей остроты, станет понятно, что допущенные Писаревым сопоставления не в его пользу, между ним и Тургеневым, должны были быть особенно чувствительны для его самолюбия, а потому нет ничего невероятного в предположении, что в душе Гончарова появилось личное нерасположение к нигилисту Писареву, впоследствии усиленное теми причинами общественного характера, о которых упоминалось выше.

Как бы то ни было, пытаясь развенчать нигилизм, в лице Волохова, Гончаров не проявил ни объективности, ни художественного такта. И напрасно в статье «Лучше поздно, чем никогда» он силился оправдать себя соображением, что он де и не думал в Волохове выводить представителя молодого поколения.

«Волохов — будто бы новое поколение! — говорит он здесь. То поколение, которое бросилось на встречу реформ — и туда уложило все силы.

«Даровитые деятели в крестьянской реформе, в земских делах, в новых судебных учреждениях, где успели приобрести громкие имена: неужели это Волоховы!

«Поколение, которое — прежнюю автоматическую военную массу — энергически помогло вождю ее, с чудесною быстротою, преобразить в современную, осмысленную и грозную силу. Поколение, которое переполняет школы, жадно учится, познает, изобретает, творит во всех отраслях русского хозяйства, промышленности, науки, везде пробивая новые пути, вызывая новые силы! Поколение молодых умов и дарований в освобожденной прессе, сослужившее огромную службу России, угадывая, объясняя и проводя в массу идеи, виды и цели великого преобразователя!

«И все это Волоховы! Кому могла придти такая мысль?... Нет, это не Волоховы, а представители новой «правды», воцарившейся с освобождением крестьян и с другими великими реформами, внесшими новую жизнь в русское общество! Но в жизни, рядом с правдой, к несчастью, гнездится и ложь; и представители этой новой лжи являются Волоховы!... Общество уже выкинуло Волоховых из своей среды, как болезненное явление...»

Не лишнее вдуматься в эту страничку: она в своем роде очень характерна для Гончарова. Представители новой правды—это исключительно те, которые работают в областях, открывшихся благодаря реформам «великого преобразователя», в направлении, указанном великим «вождем», одним словом, кому по пути с правительством. Правда там — где совершается работа в желательном и полезном для правящих сфер духе. Все, что не идет, не считает допустимым, с общественной и нравственной точек зрения, итти этим путем, зачисляется Гончаровым в разряд «новой лжи», а характернейшею чертою для представителя новой лжи, как мы видели на примере Волохова, является негодяйство в нигилистической оправе.

В видах оттенения непригодности для дела жизни Райских и утрированно отрицательных свойств Марка Волохова, Гончаров попробовал, с помощью своего любимого приема противопоставлений, ввести в роман представителя того самого «лучшего большинства», о котором он с таким подъемом говорил в только что цитированных строках своей статьи «Лучше поздно, чем никогда». Таковым, по замыслу романа, должен был явиться Иван Иванович Тушин, лесной помещик. Он завел у себя в лесу рациональное хозяйство, проявляя себя и отличным лесоводом и отличным администратором. В отношении крестьян он настоящий благодетель. Одним словом, Тушин—это «верх благородства и аккуратности, нравственный и промышленный идеал. Он относится к Райскому как

Штольц к Обломову; даже Вера, в конце романа, хотя не влюбляется, но собирается влюбиться в Тушина — черта, соответствующая любви Ольги к Штольцу». Со Штольцем Тушина роднит еще и то, что «он — чистейшая абстракция, известная сумма высоких душевных и хозяйственных качеств... Несмотря на всю доброту, на все великодушие... мы решительно не видим в этом господине ни малейшей живой черты»... Гончаров сам понимал, что Тушин ему не удался — его фигура вышла у него (по его собственному сознанию) «бледной», «неясной»; это не художественный образ, а только «намек». Зачем же понадобился этот намек Гончарову? Из соображений идейно тенденциозного порядка. Тушин, по его мысли, как представитель новой правды торжествует и над «сыном Обломова» Райским и над воплощением «новой лжи» Волоховым. Тушины, согласно определению Райского, — нет сомнения, что здесь устами Райского говорит сам Гончаров, — «наша настоящая партия действия, наше прочное будущее: когда настанет настоящее дело, явятся, вместо утопистов, работники Тушины, на всей лестнице русского общества». Тушины подобны «каменной стене»: они и только они в состоянии оградить русских Вер от каких угодно обрывов; ибо, будучи людьми настоящего дела, далеки и от «обломовского сна» и от «воловского беспочвенного блуждания». Так следует смотреть на Тушина, втолковывает нам Гончаров — крупный чиновник цензурного ведомства, но Гончаров художник отступил перед задачей воплотить в живой образ своего излюбленного героя, и вместо живого образа, перед нами мертвая чисто рассудочным путем возникшая схема. Но и по этой схеме можно судить об идеологии автора. Люди дела двух первых романов Гончарова были чистейшими буржуа, при чем младший из них по времени создания, дядюшка Адуев, совмещал служение промышленному прогрессу, фабрикантство, с чиновничьим вицмундиром, а старший, по времени создания, Штольц,

изображен служителем торгово-промышленного капитала и только. И когда дядюшка Адуев торжествовал над своим племянником, и когда Штольц торжествовал над Обломовым, в этом их торжестве нельзя было не видеть отражения совершавшегося в жизни страны перехода от патриархального, на крепостном праве основанного, быта к быту капиталистическому, перехода от устаревшей и отжившей формы социально-экономических отношений к форме, обусловленной новыми потребностями жизни, а потому к форме, которую для данной эпохи нельзя не назвать прогрессивной. И Гончаров, как автор «Обыкновенной истории» и «Обломова», бесспорно, служил делу русского прогресса. Нельзя, к сожалению, сказать этого о Гончарове, как авторе «Обрыва». Если еще и можно усмотреть некоторую прогрессивность в проявленном им скептическом отношении к Райскому, то, ведь, Райские задолго до «Обрыва», еще в средине в 50 гг., были изобличены и раз навсегда развенчаны и в «Рудине» Тургенева и в «Саше» Некрасова. Нападая на нигилизм, в лице Волохова, Гончаров определенным образом играл в руку реакции. Что же касается Тушина, то и его трудно признать представителем прогрессивных веяний, хотя бы в этом смысле, в каком для 40-х гг. прогрессивным явлением был дядя Адуев, а для 50-х гг. — Штольц. Тушина, в противоположность им, нельзя рассматривать, как буржуа; Тушин-дворянин, помещик, пытающийся приспособиться к новым условиям экономического развития. Достаточно перечесть относящиеся к нему страницы «Обрыва», главным образом, XIV гл. 3-й части и XVIII гл. 5-й части (рассказ о посещении Райским лесной усадьбы Тушина), чтобы увидить, что между Адуевым и Штольцем, с одной стороны, и Тушиным, с другой, дистанция довольно таки значительного размера. Вот, например, как иногда проводит время Тушин:

«В промежутках (между работой по выращиванию, рубке, сплаву и продаже леса — *В. М. Е.*) он ходил на охоту, удил

рыбу, с удовольствием посещал холостых соседей, принимал иногда у себя и любил изредка покутить, т. е. заложить несколько троек, большей частью горячих лошадей, понестись с ватагой приятелей верст за сорок, к дальнему соседу, и там попировать суток трое, а потом с ними вернуться к себе или поехать в город возмутить тишину сонного города такой громадной пирушкой, что дрогнет все в городе, потом пропасть месяца на три у себя, так что о нем ни слуху, ни духу.

«Там он опять рубит и сплавляет лес, или с двумя егерями разрезывает его вдоль и поперек, не то объезжает тройки купленных на ярмарке новых лошадей, или залезет зимой в трущобу леса и выжидает медведя, колотит волков.

«Не раз от этих потех Тушин недели по три лежал с завязанной рукой, с попорченным ухарской тройкой плечом, а иногда с исцарапанным медвежьей лапой лбом...

«В свободное время он любил читать французские романы: это был единственный оттенок изнеженности в этой, впрочем обыкновенной жизни многих обитателей наших отдаленных углов».

Нет надобности распространяться, что от подобного времяпрепровождения, отмеченного всеми характерными чертами дворянски-помещичьего дебоширства, открестились бы обеими руками и Адуев и Штольц.

Переходя «к деловой программе» Тушина, нельзя не отметить, что она всецело выполняется в условиях деревенской жизни. Деревня где проживает Тушин, так же поразила приехавшего к Тушину Райского, как деревня Костанжогло поразила Чичикова: «он (т. е. Райский) не заметил пока обыкновенных и повсюдных явлений: беспорядка следов бедного крестьянского хозяйства, изб на курьих ножках, куч навоза, грязных луж, сгнивших колодцев и мостиков, нищих, больных, пьяных, никакой распущенности... все строения глядят, как новые, свежо, чисто, даже ни одной соломенной крыши нет... мужики походили сами на хозяев»... Из даль-

нейшего оказывается, что Тушин организовал у себя в имении «что то в роде исправительной полиции для разбора мелких дел у мужиков, да заведения в роде банка, больницы, школы»... Правда, наравне с этим упоминается о паровом пильном заводе с машинами из блестящей стали и меди, но этого завода нельзя приравнять к городской фабрике: на нем работает артель из местных, повидимому, мужиков, и он нужен Тушину лишь как придаток к его образцово поставленному лесному хозяйству. Из всего сказанного вытекает, что Тушина, едва-ли можно рассматривать, как предпринимателя—капиталиста, каким Гончаров хотел изобразить Штольца; Тушин по замыслу автора, образцовый сельский хозяин из среды местного дворянства, один из тех идеальных представителей российского благородного сословия, которые рисовались взорам дворянских публицистов 60—70-ых гг., и мысль о которых внушала, например М. Н. Каткову хотя бы такие строки: «Никто не может отталкивать дворянство в область прошедшего... Оно было надобностью прошедшего, оно надобно и для настоящего... Дворянство после отмены крепостного права выдвигается, как передовой ряд народа... Его права не только права, сколько обязанности, налагаемые на него честью его передового положения... Вреда можно опасаться не от его деятельности, а разве от недеятельности дворянства, которая была бы свидетельством его неспособности и мертвенности» («Моск. Вед.», 1874 г., № 217).

Автору настоящих строк приходилось уже останавливаться в печати на вопросе об отношении Гончарова к Каткову и его газете («Русская Старина», 1917 г., № 1), и им тогда же было, на основании документальных данных, доказано, что Гончаров признавал большие заслуги за Катковым и готов был, вопреки своему обыкновению, проявлять значительную энергию в защите «Московских Ведомостей» от нападок некоторых своих сослуживцев по цензурному ведомству. При таком отношении Гончарова к Каткову, нет ничего

удивительного в том, что в вопросе об общественной роли дворянства Гончаров воспринял катковскую точку зрения, что и отразилось на его Тушине. Во всяком случае, рассматривать Тушина, как явление для своего времени столь же прогрессивное, каким мы признали Штольца для своего, совершенно невозможно.

И в другом отношении в содержании «Обрыва» сказался поворот в идеологии Гончарова, властно потянувший его к идеализации отживающего патриархального быта и старозаветной усадебной жизни. Никогда еще Гончаров с такою любовностью, переходящею иной раз в умиление, не изображал крепостнической дворянской Руси, как в «Обрыве». Воплощением этой Руси в его романе является «бабушка», Татьяна Марковна Бережкова. Гончаров, конечно, был прав, когда в статье «Лучше поздно, чем никогда» писал: «бабушка была благосклонно принята всеми в публике. Никто ничего не говорил против ее изображения, и до меня доходили только похвалы ей». «Благосклонное» отношение от публики передалось и критике: некоторые даже мало расположенные к Гончарову критики с одобрением отзывались о бабушке. Лишь недавно вопрос о бабушке подвергся пересмотру, и результаты получились несколько неожиданные. Оказалось, что бабушка, поскольку ее характеристику базировать на объективных данных, далеко не принадлежит к числу безусловно положительных общественных типов, а затем, что Гончаров не проявил в отношении ее должного беспристрастия, так как всемерно старался расположить читателя в ее пользу. Проследим, вкратце, нить тех рассуждений, которые заставляют новейшего исследователя (Е. А. Ляцкий, XXXI и XXXII гл. его книги о Гончарове) прийти к подобным выводам. Наиболее типичной чертой бабушки является ее органическая связь, духовное родство с прошлым, с тем строем жизни, которому новое поколение слишком решительно, по мнению Гончарова, объявило войну, желая разрушить его до

основания, между тем как в нем таилось еще много крепких, здоровых начал для будущего развития. «Бабушка, читаем в статье «Лучше поздно, чем никогда», говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости, но в новых каких-нибудь неожиданных для нее случаях у нее выступали собственные силы, и она действовала своеобразно. Сквозь обветшавшую, негодную мудрость у нее пробивалась струя здорового смысла». Нового, — замечает дальше Гончаров, — она «пугалась немного и беспокойно искала подкрепить его бывшими примерами». Весь смысл ее характера таков, что она — старуха, по словам Гончарова, твердая, властная упорная неуступчивая, — требует повиновения, хозяйственна и бережлива.

Так ли уж этот образ симпатичен в реальной обстановке, каким он представляется Гончарову и многим читателям? «Попробуйте перевести на язык непосредственной крепостной обстановки определение «феодальной натуры», данное бабушке самим же Гончаровым, и в вашем воображении замелькает ряд лиц и воспоминаний далеко не положительного свойства. Для беспристрастия забудьте на время те подкупающие и сглаживающие черты, которыми она обращена к двум-трем лицам, связанным с нею узами родства. Здесь она олицетворенная любовь, нежность, доброта. Черты эти не распространяются за пределы гнезда, и потому в существе своем они элементарны, свойственны самым обыкновенным, немудреным людям. В отношениях со всеми прочими явлениями внешнего мира в Татьяне Марковне выступают и действуют многие свойства, далеко не столь привлекательные».

К чему сводится, например, прославленная бабушкина «мудрость»? Бабушка, разумеется, обладает здравым практическим смыслом, но не более, и сколько-нибудь недюжинного самобытного ума в ее сентенциях мы не видим. Она дельно ведет свое хозяйство, метко рассуждает о знакомых ей людях, но за всем тем «горизонт ее кончается — с одной

стороны—полями, с другой Волгой и ее горами; с третьей—городом, а с четвертой—дорогой в мир, до которого ей дела нет». «Интересы ее,—по справедливому замечанию Е. А. Ляцкого,—почти также ограничены, как интересы стариков Обломовых, матери Александра Адуева и немногим шире интересов ее дворовых или обломовских мужиков. Высота ее мудрости никогда не поднимается над уровнем понятий, выражающихся в народных пословицах и поговорках и заключающих в себе не только итоги здравого смысла, но порядочную долю невежества и дикости. Основной вывод философии Бережковой, который Гончаров называет «мудрым», совпадает с обыкновеннейшим выводом обыкновеннейшего из немудреных людей ее круга, о том, что всякому дается известная линия в жизни, по которой можно и должно достигать известного значения, выгод, и что всякому дана возможность сделаться (относительно) важным, богатым, а кто прозевает время и удобный случай, пренебрежет данными судьбой средствами, тот не пеняй на себя»...

Бог и судьба составляют теоретическую сторону бабушкиной морали. Бог с одной стороны—податель жизненных благ; с другой—неумолимый контрольный аппарат, отмечающий малейшие отклонения...

Культ судьбы был такой же элементарный и по существу своему общенародный, как и наивная вера в бога. Гордая и властная бабушка одобрительно встречала вокруг себя молчалинские свойства и свои проповеди на эту тему подкрепляла ссылками на судьбу. Заносчивость — бабушка придавала этому слову очень широкий смысл—судьба наказывает «оплеухами», от которых Татьяна Марковна и предостерегает Райского: «Ну, а когда счастье? Уже ли все оплеухи? — спрашивает Райский. — Нет не все; когда ждешь скромно, сомневаешься, не забываешься, оно и упадет. Пуще всего не задирай головы и не подымай носа, побаивайся: ну и дастся». Судьба любит осторожность, оттого

и говорят: «береженого и бог бережет»... Яркой иллюстрацией прекрасной, по ее мнению жизни, служит незаметное прозябание каких-то старичков Молочковых: «И не слыхать их в городе: тихо у них, и мухи не летают. Сидят, да шепчутся, да угождают друг другу. Вот пример всякому: прожили век, как будто проспали»... Прожили век, как будто проспали. Таков коренной обломовский идеал, в котором тонут все высшие запросы духа и общественной жизни... Существенным элементом, входившим в понятие «счастье», была, по глубокому убеждению бабушки, удачная и выгодная женитьба... Женить Райского на дочери Мамыкина составляет для нее венец ее желаний. «Почему вы знаете,— справедливо возмущается Райский,—что для меня счастье— жениться на дочери какого-то Мамыкина?» «Она красавица, — отвечает бабушка, — воспитана в самом дорогом пансионе в Москве». Но главное не это: «Одних бриллиантов тысяч на восемьдесят... Тебе полезно жениться... Взял бы богатое приданое, зажил бы большим домом у тебя бы весь город бывал. Все бы раболепствовали перед тобой, поддержал бы свой род, связи... И в Петербурге не ударил бы себя в грязь»... Родовая связь играла видную роль в рассуждениях этого рода и была общей чертой обломовских «господ». Ничто и никогда не могло истребить различия между «людьми» и «господами», хотя бабушка принадлежала еще к наиболее гуманным помещицам крепостнической эпохи. Стыдя Райского портретами предков за то, что он приехал в усадьбу на перекладной, один, без лакея, бабушка не стыдится наказывать людей; горничные у нее целый день, «не разгибаясь», что-нибудь шили или плели кружева, потому что Татьяна Марковна не могла видеть людей без дела, т. е. барского дела. Посылками к невежественной знахарке бабке Меланхолихе, да сытным кормлением исчерпываются все заботы ее о благосостоянии крестьян. Когда Райский высказал предположение отдать обстановку

своего имения на школу, бабушка возмутилась: «Школьникам! — воскликнула она. — Не бывать этому! Чтобы этим озорникам досталось! Сколько они у меня одних яблок перетаскали через забор!» Объяснение это дает любопытную черту для характеристики отношения Бережковой к тому, что называется общественным благом. Об этом благе, по буквальным словам самого Гончарова, она и «слушать не хотела». Некоторые ее рассуждения, и не только рассуждения, но и поступки поражают узостью и черствым эгоизмом. Если вспомнить приемы ее в лавках у купцов, то исчезает представление даже о дворянском достоинстве бабушки: перед нами не богатая и гордая помещица-барыня, а самая заурядная скопидомка-купчиха. Однажды, бабушка отважилась на деяние противозаконного и даже уголовного характера: несмотря на категорическое запрещении властей, самостоятельно изготовлять спиртные напитки «она вздумала велеть пиво варить для людей, водку гнала дома». Не получивший взятки исправник «озлобился» и донес. Бабушке пришлось смирить свою гордыню и просить прощения, но судьба не пощадила и исправника: приехал новый губернатор, узнал его плутни и прогнал. В этом для бабушки был явный перст провидения. После этого совершенно понятно, что в доме Бережковой мог с полной свободой господствовать Фамусовский принцип—«у нас ругают везде—и всюду принимают». И Нил Андреевич Тычков, казнокрад, наглец доносчик, вообще человек темный, мог в течение многих лет играть в ее доме роль авторитета, поклонения которому, за его чины и заслуги, требовала бабушка и от Райского: «человек почтенный», «со звездой»—по отзыву Бережковой—«племянницу обобрал, в казне воровал, он же и судит»...

«Все эти черты, — заканчивает Е. А. Ляцкий свою характеристику,—вместе взятые, рисуют нам тип женщины, едва ли уж очень симпатичной, особенно, если вглядеться в этот тип беспристрастно, отрешившись от того поэтического

ореола, которым осеняет его Гончаров. Обыкновенная зажиточная женщина, своенравная и высокомерная в одних случаях и, по обстоятельствам, смиренная — в других, легко поступающаяся дворянской спесью, с узкой эгоистической моралью, бойкая и смышленная,—этот образ стоит в положительном противоречии с тем пьедесталом, на который возводит его Гончаров, и с тем чувством глубокой симпатии, какую возбуждает этот образ на первый взгляд, благодаря особенным свойствам таланта писателя».

В «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров упорно настаивает на обобщаемом значении образа бабушки, предлагая в нем видеть олицетворение «старого русского общества». Следовательно, отношение Гончарова к бабушке тождественно с отношением его к старому русскому обществу. Иными словами, автор относится к старому русскому обществу пристрастно, если не замалчивая, то, во всяком случае, придавая очень мало значения его недостаткам и, наоборот, всячески выдвигая и подчеркивая достоинства и стремления окутать жизнь этого общества ореолом поэзии и благородства. Единственный грех, который Гончаров соглашается признать за бабушкой, т. е. за старым русским обществом, это «грех недостатка прозорливости, живой заботливости о новых живых нуждах для свежих и молодых сил, грех своего упрямого и добровольного неведения, беззаботности, неосновательных страхов»... Благодаря этому «греху» бабушка не сумела охранить Веру от представителя новой лжи Марка Волохова; благодаря этому «греху», предоставленная самой себе, лишенная опытного руководства, Вера понадеялась на свои силы и «пала». Но «грех» «бабушки» и «старого русского общества» они, по Гончарову, с лихвой искупили своими раскаяниями и готовностью поддержать пошатнувшуюся в своих нравственных устоях молодежь — Веру. Бабушка, таков смысл Гончаровского романа, имеет все данные, чтобы излечиться от своего греха—излишнего консерватизма, в значи-

тельной степени, уже излечилась от него, как показывает история с Верой. Новой жизни, новым силам не обойтись без помощи бабушки. Бабушка оказалась необходимой даже для такой самостоятельной натуры, как Вера; идеальный Тушин бесконечно уважает бабушку, и она обещает устроить его счастье с Верой. Что же касается «послушных и добрых детей» Марфиньки и Викентьева, из которых, по мнению Гончарова, состоит «толпа, большинство» (очевидно, Вера трактуется как представительница меньшинства), то «эта чета не дает бабушке ни горя, ни тревог. Последняя знает, что ни та, ни другой и з п о с л у ш а н и я е е н е в ы й д у т и будут жить как она укажет... Они всегда бодро, резво и послушно, под ее глазами, пойдут по пути, покоряясь переменам, одобренным бабушкою, не нуждаясь ни в каких идеалах «нового счастья», не думая о будущем, не скучая жизнью в своей среде... И бабушка награждает послушных и добрых детей материнскою заботою о них, наблюдая, чтоб им было вдоволь кушать, мирно спать, весело проводить время, слегка отбывать свой дневной труд, получать места, делать карьеру и незаметно исчезать, сменяясь новыми Марфиньками и Викентьевыми». Здесь яснее, может быть, чем где-либо сказалась вера Гончарова в незыблемость бабушкиных устоев жизни, его глубокая симпатия к ним. Большинство — Марфиньки и Викентьевы — «никогда не выйдет из послушания бабушке»; благоразумное меньшинство—Тушины—находится в дружеском единении с бабушкой; мятущееся меньшинство—Веры—в конце-концов вверяется испытанному руководству бабушки. Под крылом бабушки течет тихая и счастливая жизнь «послушных и добрых детей», дающая им возможность «вдоволь кушать», «мирно спать», «весело проводить время», «с л е г к а отбывать труд», получать места, «делать карьеру» и т. д. и т. д. Вопрос о законности и справедливости такой жизни, вопрос о том, что она покупается чьими-то напряженными усилиями и тяжелым до кровавого

пота трудом, что процветать и развиваться она может лишь на основе эксплоатации одних другими, игнорируется Гончаровым, а с теми, у кого хватает смелости этот вопрос ставить, Гончаров готов вести борьбу и как художник, приравнивая таких смельчаков к негодяю—нигилисту Волохову, и как цензор, обрушивая на их головы административные и судебные кары.

Но, вскрывая реакционную идеологию автора «Обрыва», идеологию, столь несогласную с той, которой вдохновляется современный читатель, никоим образом нельзя забывать о крупных чисто художественных достижениях данного романа. Мы уже имели случай указывать на очень существенные художественные дефекты его, как, например, на, по меньшей мере, странное смешение эпох, заставившее нигилиста—шестидесятника перенести в обстановку не отмененного крепостного права и поставить рядом с молодым еще представителем 40-х гг., на крайнюю односторонность в изображении Марка Волохова, как общественного типа, на бледность, нежизненность и схематичность образа Тушина, на субъективность в обрисовке и понимании старой русской жизни, воплощенной в бабушке. Перечень этих дефектов можно было бы удлинить. Некоторые критики не без основания указывали на то, что увлечение «умной и изящной» Веры Волховым, по крайней мере, таким, каким он изображен в романе, плохо мотивировано психологически, а следовательно и художественно, что, с другой стороны не было психологической, а следовательно и художественной необходимости затемнять образ бабушки рассказом об ее грубом физическом падении в оранжерее в дни ее молодости. За всем тем, «Обрыв» изобилует картинами и образами, представляющими огромную художественную ценность. Пусть Гончаров ошибался, утверждая («Лучше поздно, чем никогда»), что последние две части романа «не слабее и хуже, а напротив положительно лучше всего, написанного им прежде», но во всяком случае, многие черты в изображении

Райского, бабушки, Веры, образы едва ли не всех второстепенных персонажей романа (за исключением, быть может, несколько сбивающейся на карикатуру Полины Критской), начиная с Марфиньки и Викентьева, продолжая бабушкиным другом Титом Никонычем Ватутиным, учителем Козловым с женой, многочисленными представителями так называемого общества провинциального города, во главе с «генералом» Тычковым, кончая разнообразными типами дворовых слуг и общей картиной усадебной жизни, «писаны созревшею и опытною рукою» и свидетельствуют о незаурядном художественном даровании своего автора.

IX

Гончаров, как художник. Роль субъективного и объективного элементов в его творчестве. Символизм гончаровских образов. «Фламандство». Особенности его юмора. А. Мазон об языке и стиле Гончарова.

В главах, посвященных отдельным творениям Гончарова, мы касались также и вопросов, связанных с особенностями его художественного творчества. Это не исключает необходимости более пристальной, более широкой и общей проработки этих вопросов. Вне такой проработки едва ли возможна окончательная оценка литературного наследия Гончарова и выяснение того места, которое он занимает в ряду других крупных художников русского слова. В данном случае, как это уже неоднократно делалось в предыдущем изложении, нам не обойтись без постоянных ссылок на автооценку и автокритику, содержащиеся в статье «Лучше поздно, чем никогда». При этом спешим, однако, сделать весьма существенную оговорку. Статья эта, в части своей, стала писаться вскоре после появления в печати «Обрыва», в окончательном же виде увидела свет много позже, в 1879 году. Достаточно даже поверхностного знакомства с нею, чтобы убедиться, что на суждениях Гончарова о самом себе и своих романах довольно заметным образом сказалось влияние не только мнений некоторых критиков, но и толков, возникавших в публике. Так характеризуя себя, как художника, Гончаров варьирует то, что еще по поводу «Обыкновенной истории» было высказано о нем Белинским. Выясняя идею

«Обломова», автор ссылается на оценку, данную этому роману Добролюбовым, даже не пытаясь ее дополнить и углубить— в такой мере она, очевидно, представляется ему исчерпывающей. Поскольку речь идет об «Обрыве», в частности о нигилисте Волохове, читатель постоянно чувствует, в какой мере уязвлен автор нападками либеральной критики и публицистики и как важно для него смягчить ее нерасположение к нему. Приведенные примеры, а число их возможно было бы увеличить, свидетельствуют о том, что автооценку и автокритику Гончарова было бы совершенно неправильно рассматривать, как нечто столь непререкаемое, с чем должно только безусловно соглашаться. Точно предвидя возможность такого отношения к его мыслям, Гончаров писал в своей статье: «Я отнюдь не выдаю этот анализ своих сочинений за критический непреложный критерий, не навязываю его никому, и даже предвижу, что во многом и многие читатели, по разным причинам, не разделяют его. Сообщая его, я только желаю, чтоб они знали, как я смотрю на свои романы сам»... И само собой разумеется, хотя бы далеко не со всем из высказанного Гончаровым мы были согласны, знать, «как он смотрит сам», для нас очень и очень небезразлично.

Первый вопрос, подлежащий нашему разрешению при разъяснении основных особенностей художественного творчества Гончарова, это вопрос о том, к какому типу художников он принадлежит. Идя вслед за Белинским и отчасти повторяя его суждения, высказанные в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 г.» по поводу романа Герцена «Кто виноват» и его собственной «Обыкновенной истории»*),

---

*) Чтобы показать нагляднее зависимость мнений Гончарова от мнений Белинского в вопросе о двух типах художников, позволим себе процитировать несколько строк из Белинского: «Поэт художник— более живописец, нежели думают... Главная сила его в поэтической

Гончаров утверждает, что различие между художниками слова заключается в том, как они мыслят—сознательно или бессознательно, иными словами, что̀ является преобладающим элементом их психики—ум или фантазия и так называемое сердце. У «сознательных писателей» ум «превозмогает фантазию и сердце» и доказывает то, «чего не договаривает образ»; идея у них «нередко высказывается помимо образа»; их создания «убеждают, учат, уверяют, так сказать, мало трогая». Наоборот у писателей—с «избытком фантазии», «при относительно меньшем против таланта уме, образ поглощает в себе значение, идею; картина говорит за себя и художник часто сам увидит смысл» не иначе как «с помощью тонкого критического истолкователя». Само собой разумеется, что Гончаров весьма решительно зачисляет себя во вторую группу художников, увлекающихся больше всего («как это заметил обо мне Белинский») своею способ-

живописи. Он обладает способностью быстро постигать все формы жизни, переноситься во всякий характер, во всякую личность,—и для этого ему нужны не опыт, не изучение, а достаточно иногда одного намека или одного быстрого взгляда. Два—три факта,—и его фантазия восстанавливает целый, отдельный, замкнутый в самом себе мир жизни, со всеми его условиями и отношениями, со свойственным ему колоритом и оттенками»... И далее собственно о Гончарове: «Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своей способностью рисовать»... и т. д. «Другой разряд поэтов... может изображать верно только те стороны жизни, которые особенно почему бы то ни было поразили их мысль и особенно знакомы им. Они не понимают наслаждения представить верно явление действительности для того только, чтобы верно представить его... Для них важен не предмет, а смысл предмета, - и их вдохновение вспыхивает только для того, чтобы, через верное представление предмета, сделать в глазах очевидным и основательным смысл его... Отнимите у них эту одушевляющую их мысль, заставьте отказаться от их взгляда на предметы, — и у них нет больше и таланта; тогда как талант поэта-художника всегда с ним, пока вокруг него движется жизнь, какая бы она ни была».

ностью рисовать. «Рисуя,—пишет он,—я редко знаю в ту минуту, что значит мой образ, портрет, характер: я только вижу его живым, перед собою—и смотрю, верно ли я рисую, вижу его в действии с другими—следовательно вижу сцены и рисую тут этих других, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя еще, как вместе свяжутся все, пока разбросанные в голове, части целого. Я спешу, чтоб не забыть набрасывать сцены, характеры, на листах, клочках—и иду вперед как будто ощупью, пишу сначала вяло, неловко скучно (как начало в Обломове и Райском), и мне самому бывает скучно писать, пока вдруг не хлынет свет и не осветит дороги, куда мне итти. У меня всегда есть один образ и вместе главный мотив: он то и ведет меня вперед—и по дороге я нечаянно захватываю, что попадается под руку, т. е., что близко относится к нему. Тогда я работаю живо, бодро, рука едва успевает писать, пока опять не упрусь в стену. Работа, между тем, идет в голове, лица не дают покоя, пристают, позируют в сценах, я слышу отрывки их разговоров—и мне часто казалось, прости господи, что это я не выдумываю, а что это все носится в воздухе около меня и мне только надо смотреть и вдумываться».

Таким образом, по Гончарову выходит, что начальной, а вместе с тем и главной стадией творчества у художников подобного ему типа является бессознательное видение, или, иначе говоря, художник исходит в своем творчестве из чувственного созерцания предмета или чувства; потребность охватить его целиком — выразить доступными ему средствами заставляет его проникать в самую сущность предмета или чувства. Но ведь это только начальная стадия в творчестве, от этого художник только исходит. Что же является следующим этапом творчества по Гончарову? Насколько можно судить по намекам, разбросанным в «Лучше поздно, чем никогда», второй этап состоит в обдумывании и поверке уже предстоящего умствен-

ному взору художника образа. Рассказывая, как шла работа над созданием образа Райского, Гончаров упоминает, что он должен был писать его, «глядя то в себя, то вокруг, беспрестанно говоря о нем в кругу тогдашних литераторов, поверяя себя, допрашиваясь их мнения, читая им на выдержку отдельные главы, объясняя, что будет дальше, чтобы видеть какое впечатление производит он, и быстрее итти дальше»... Отсюда видно, что если в начальной стадии творчества решающим моментом являлось бессознательное видение, то второй его этап, в значительной степени, должен был базироваться на работе сознания, ибо для поверки себя, а также для бесед о продуктах своего творческого воображения с другими, сопровождаемых авторскими комментариями и т. д., преимущественное участие сознания становится уже совершенно неизбежным.

Наконец, третий этап творчества по Гончарову, «архитектоника», т.-е. сведение всей массы лиц и сцен в одно стройное целое. Нет надобности распространяться, что подобного рода работа, в свою очередь, требует напряженной деятельности сознания.

Из всего изложенного вытекает, что элемент бессознательного хотя и играл видную роль в творчестве Гончарова, особенно в начальной его стадии, отнюдь не распространялся на все его творчество, и говорить о Гончарове, как о бессознательном, преимущественно, художнике можно с большими оговорками. Гончаров, думается нам, в «Лучше поздно, чем никогда» несколько преувеличил значение бессознательного в процессе своей творческой деятельности. Пусть видение образов, с которых начинался творческий процесс и было бессознательным, но отрицать сознательность в архитектонике, в частности в противопоставлении образов с одним идейным содержанием образам с другим, диаметрально противоположным содержанием, конечно, не приходится. А между тем в таких противопоставлениях едва-ли не главная

черта романов Гончарова. В самом деле, можно ли представить себе «Обыкновенную историю» без противопоставления Адуева-племянника и Адуева-дяди? Можно ли представить «Обломова» без противопоставления Ильи Ильича и Штольца? Можно ли представить «Обрыв» без противопоставления Райского, Марка Волохова и Тушина? И более того, если основные образы этих трех произведений, каковыми нельзя не признать образов Адуева-племянника, Обломова и Райского, заполнили сознание автора, внедряясь в него путем бессознательного в и д е н и я, то едва ли можно сомневаться, что контрастирующие с ними образы Адуева-дяди, Штольца, Марка Волохова и Тушина имеют своим источником не бессознательное видение, а чисто головную работу, работу сознания, в глубине которого созрела мысль противопоставить их основным образам. И не этим ли объясняется тот, не вызывающий, разумеется, в своем существе, никаких сомнений факт, что в то время как возникшие путем бессознательного видения три основных образа поражают своей художественностью, не заставляя ни минуты сомневаться в своей жизненности и правдивости, контрастирующие с ними образы много бледнее? Это должен был признать и сам Гончаров, при чем выдвигаемые им, в объяснение этого, причины не всегда однородны. Адуев—старший вышел де бледнее племянника потому, что «сознание необходимости дела, труда», воплощением которого он является, только нарождалось и еще не имело полного выражения в жизни; образ Штольца вышел «бледным», «не реальным», «не живым», потому, что он «просто идея»; Тушин,—фигура «бледная», «неясная» вследствие того, что это не столько образ, сколько, «так сказать, намек на настоящее новое поколение». Мы не станем углубляться в вопрос, что обусловило художественные дефекты образов положительных героев Гончарова, для нас важно только констатировать, что в основе этих образов, пусть не самых главных, но все же в общей концепции

Гончаровских романов играющих очень и очень видную роль, лежит, по словам самого автора, уже не бессознательное видение, а «идея», «намек», одним словом сознательное начало. Но они, эти образы—наименее удачны. Следовательно, сила Гончарова в том, что он называл бессознательным творчеством. И Гончаров, конечно, понимал это, но хотя и понимал, часто пытался обращаться к сознательному творчеству и почти неизменно терпел на этом поприще неудачи. Неудачи его были менее ощутительны для его современников и отчасти для него самого в двух первых его романах, ибо и в «Обыкновенной истории» и в «Обломове» их несколько скрадывало то обстоятельство, что Гончаров, как мыслитель, стоял в них на высоте сознания завоевывавшего себе господство класса—буржуазии, идеологию которого и выражал. За то в «Обрыве», где Гончаров, под влиянием своей службы в реакционнейшем отделе реакционнейшего министерства, попробовал, вопреки общественному сознанию эпохи, выступить в роли чуть ли не охранителя основ доживавшего свой век крепостнического государства, эти неудачи сказались гораздо явственнее.

Вообще говоря, нет никакого сомнения в том, что если бы Гончаров реже сходил с почвы бессознательного творчества и менее давал волю тенденции, бесспорно свойственной ему, хотя как будто и отрицаемой им в его статье «Лучше поздно, чем никогда», его художественные достижения были бы безусловнее, и с нашим представлением о нем, как художнике слова, не ассоциировалось бы мысли не только о высоких взлетах творчества, но и о досадных его падениях.

В связи с рассмотренным вопросом о роли бессознательного и сознательного элементов в творчестве Гончарова находится и другой, не менее важный, о степени субъективности этого творчества. Этот вопрос поднят сравнительно недавно. С легкой руки Белинского и Добролюбова установилась традиция считать Гончарова одним из самых объективных

русских писателей, и эта традиция передалась последующей критике и, собственно говоря, не совсем умерла еще и теперь. Здесь, может быть, не осталось без влияния то обстоятельство, что Белинский и Добролюбов, бесспорно, самые авторитетные представители русской критической мысли в середине XIX века, внесли в свои суждения по данному вопросу значительную категоричность. Гончаров, по Белинскому, это—«поэт, художник и больше ничего... у него нет ни любви, ни ненависти к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю»... Объективность, в связи с умением «охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его», представлялась и Добролюбову наиболее характерной особенностью таланта Гончарова. «Изображение их (явлений жизни в их полноте), — писал Добролюбов — составляет его призвание, его наслаждение; объективное творчество его не смущается никакими теоретическими предубеждениями и заданными идеями, не поддается никаким исключительным симпатиям».

Е. А. Ляцкому принадлежит заслуга развития и обоснования совершенно иной точки зрения на творчество Гончарова. «Изучение творчества Гончарова в его целом,—читаем в его книге об этом писателе,—приводит нас к глубокому убеждению в том, что перед нами один из наиболее субъективных писателей, для которого раскрытие своего «я» было важнее изображения самых животрепещущих и интересных моментов, современной ему общественной жизни». К подобному взгляду на Гончарова Ляцкого привели, прежде всего, категорические признания самого Гончарова, которые, кстати сказать, появились в печати через несколько десятилетий после статей Белинского и Добролюбова, не знавших к тому же «Обрыва» и руководствовавшихся в своих оценках гончаровского творчества—первый только «Обыкновенной историей», второй,—преимущественно, «Обломовым». В статье

«Лучше поздно, чем никогда» Гончаров с не допускающей двух толкований определенностью заявляет: «Я сам и среда, в которой я родился, воспитывался, жил — все это, помимо моего сознания, само собой отразилось силою рефлексии у меня в воображении, как отражается в зеркале пейзаж из окна, как отражается иногда в небольшом пруде громадная обстановка»... И в другом месте: «Напрасно некоторые предлагали мне задачи для романа.

«Опишите такое то событие, такую-то жизнь, возьмите тот или другой вопрос, такого то героя или героиню!» Не могу, не умею! То, что не выросло и не созрело во мне самом, чего я не видел, не наблюдал, чем не жил,—недоступно моему перу. У меня есть своя (или была) своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний, — и я писал только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал—словом писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало».

Справедливость сказанного Гончаровым подтверждена теми многочисленными сопоставлениями между жизнью, личностью, миросозерцанием героев Гончарова и его самого, которые так тщательно, с таким вниманием, добросовестностью, исчерпывающей эрудицией даны в книге Ляцкого. Его настойчивыми усилиями подведен солидный фундамент под нижеследующий вывод, огромного в деле изучения Гончарова, значения: «в Петре Ивановиче Адуеве выразилась деловая, служебная сторона личности Гончарова, в Обломове—домашний обиход, отвечавший его склонности к мечтательному покою и ревнивому обереганию личной жизни от толчков и вторжений извне, а в образе Райского нашел себе воплощение наиболее важный и возвышенный элемент—воплощение художнической натуры писателя». При этом нельзя

забывать, что, как доказал тот же Ляцкий, история Александра Адуева, перешедшего от юношеской аффектации и романтизма патриархального полу-буржуа, полу-барича к практической деловитости и утилитаризму своего дядюшки,— в значительной степени, история самого Гончарова. Некоторым вариантом к тезису Ляцкого является мнение авторитетного московского исследователя П. Н. Сакулина, тем более для нас ценное, что оно базируется на ином материале, чем тот, которым пользовался Ляцкий,—не столько на художественных произведениях Гончарова, сколько на его переписке. «Переписка Гончарова,—пишет П. Н. Сакулин («Голос Минувшего» 1913 г., № 11), — позволяет придти к тому выводу, что в Гончарове одновременно жил и Штольц, и Обломов, и Райский: у него склад ума (и миросозерцание)—Штольца, характер — Обломова, а художественные свойства таланта — Райского».

Наконец, всецело примкнул ко взгляду Ляцкого и талантливый критик—импрессионист Ю. А. Айхенвальд. Считая, что только в силу «глубокого недоразумения» Гончарова называли объективным художником, Айхенвальд пишет: «в свои романы Гончаров свою натуру перенес всецело и нисколько не отрешился от себя, когда живописал других людей. У него и помину нет той старой объективности, которая подавляет в художнике его сочувствия и неприязни и безо всякого заметного посредничества ставит нас лицом с жизнью и людьми. Мы слишком ясно видим, кого и что он любит, кому он отказывает в своей симпатии; например, рисуя фигуры Волохова и Тушина, он не скрывает, к которому из них лежит его сердце; он ясно разделяет «бабушкину мораль», и не писатель — объективист провожает Веру в «Обрыв» участливой мольбой: «Боже, прости ее, что она обернулась!» Гончаров необычайно субъективен в воспроизведениях своего пера, он и не пытается достигнуть писательского беспристрастия и даже, не умея индивидуализировать

слога, заставляет свои персонажи говорить классическим языком самого автора».

Противополагая суждениям современных романам Гончарова критиков (Белинского, Добролюбова) об его крайнем объективизме суждения исследователей наших дней (Ляцкого, Сакулина, Айхенвальда) о не менее крайнем его субъективизме, трудно отрешиться от мысли, что несмотря на видимое противоречие этих суждений, их, до некоторой, конечно, степени, возможно примирить и согласовать между собою. Здесь, прежде всего, необходимо иметь в виду, как уже и отмечалось нами в отношении чуть ли не каждого из произведений Гончарова в отдельности, что при создании их автору на-ряду с субъективными источниками, служили и источники объективные; результаты самонаблюдения дополнялись и поверялись им наблюдением над окружающей жизнью, а в отношении некоторых картин и образов его произведений самонаблюдение не могло оказать ему мало-мальски ощутительной помощи. Но допуская, и это допущение неизбежно при нынешнем состоянии науки о Гончарове, что в первоначальной стадии своего творчества Гончаров исходил от субъективного и что субъективное вообще имело преимущественное значение в его творчестве, нельзя закрывать глаза на то, что в процессе поэтической обработки своих картин и образов, Гончаров умел если возможно так выразиться, объективировать субъективный по своему происхождению материал. В этом умении, в этой способности, конечно, одна из величайших заслуг Гончарова, может быть, главное право его на бессмертие. История перевоплощения Александра Адуева в двойника своего дядюшки в основе своей восходит к личным переживаниям Гончарова, однако, Гончаров сумел в такой мере вытравить из нее субъективный привкус, сгладить все индивидуальные грани, что она, в полном смысле этого слова, превратилась в «обыкновенную историю», зафиксировавшую один из важных этапов не только в истории

русской интеллигенции, но и в экономической эволюции страны, сулившей скорую гибель тогдашнему крепостническому государству.

Любовь Гончарова к Е. В. Толстой, конечно наложила известный отпечаток на отношения Обломова и Ольги Ильинской, но это не помешало Гончарову придать этим отношениям значение центрального момента в характеристике Ильи Ильича: именно их исход дорисовывает всю дряблость, всю порабощенность «обломовщине» психики этого продукта русского дореформеннего барства.

И таких примеров можно было бы привести множество. Поскольку мы имеем дело с удачными в художественном отношении образами Гончарова, почти всегда выросшими на почве субъективных переживаний из субъективного же материала, они в такой мере объективируются в процессе авторского творчества, что представляют самодовлеющую, чисто объективную ценность. И эта бесспорная объективная ценность лучших гончаровских образов не могла не привлечь внимания Белинского и Добролюбова и, естественно, привела их, не знавших о писателе, об его жизни и личности того, что знаем мы, к вышеприведенным их суждениям. Нельзя, конечно, не разделять в наше время столь солидно обоснованной и биографически и психологически точки зрения Ляцкого и его единомышленников, но, с другой стороны, нельзя в стремлении прояснить субъективные элементы творчества Гончарова впадать в крайности, т.-е. везде и повсюду, не останавливаясь перед натяжками, стараться находить эти элементы, а главное нельзя игнорировать того обстоятельства, что при всей субъективности многих источников гончаровского творчества, оно, независимо от происхождения того или другого образа, дает правдивую вполне объективную картину жизни современного автору общества. И глубоко прав французский исследователь А. Мазон, который в своей ценнейшей и капитальнейшей работе о Гончарове, поставив

вопрос, не становится ли «я» Гончарова между ним и наблюдаемым им явлением, не рассматривает ли этот писатель почти исключительно личного вдохновения жизнь с узко субъективной точки зрения, отвечает на него так: «Нет, потому, что он изображает жизнь целиком, и ничто в ней не может ни глубоко удивить, ни опечалить его. У него о жизни было представление трезвое и четкое, какие должны были иметь его предки торговцы, чиновники, провинциальные буржуа, целиком проникнутые умеренностью, посреди которой они жили, мало расположенные фантазировать о вещах и о людях и считавшие высшей добродетелью не попасть впросак. Он развил эту способность понимания... и сделал из нее новое употребление».

Одно из существенных подтверждений того, в какой мере объективировался субъективный материал, попадая в творческую лабораторию Гончарова, мы усматриваем в присущем этому писателю символизме. Весьма серьезная и обстоятельная попытка исследовать эту сторону творчества Гончарова содержится в статье В. Чуйко, появившейся в печати в год смерти Гончарова. «Философский синтез явлений жизни, который в искусстве очень часто переходит или перерождается в аллегоричность, в своего рода символизм», составляет черту, которая сразу, по мнению Чуйко, выдвинулась в творчестве Гончарова и уже вполне ясно господствует в первом его романе.

В самом деле, разве нельзя рассматривать Илью Ильича Обломова, как своего рода символ при условии, что сам автор называет его в одном месте «воплощением сна, застоя, неподвижной мертвой жизни», а в другом «цельным, ничем не разбавленным выражением массы, покоившейся в долгом и непробудном сне?»

И не символистичны ли фигуры некоторых из действующих лиц «Обрыва». Вспомним, как заканчивает Гончаров этот роман: «За ним (за Райским, уехавшим в Италию) все

стояли и горячо звали к себе три фигуры: его Вера, его Марфинька и бабушка, а за ними стояла и сильнее их влекла к себе еще другая исполинская фигура, другая великая бабушка — Россия». А вместе с тем вспомним, что говорит по поводу этих заключительных слов «Обрыва» Гончаров в «Лучше поздно, чем никогда»: «вот что отразилось, или, если я слабый художник и не одолел образа, то, по крайней мере, вот что просилось отразиться в моей старухе, как отражается солнце в капле воды: старая консервативная русская жизнь». И так в творческий замысел автора «Обрыва» входило слить образ бабушки с образом России, иными словами он хотел придать этому образу характер широчайшего символа.

А трактовка Тушина, как представителя «новой правды», и Марка Волохова, как представителя «новой лжи», разве в ней не чувствуется того же уклона в сторону символизма?

А «гениальная», по мнению Д. С. Мережковского, сцена, когда Вера останавливается на минуту перед образом спасителя в древней часовне и тропинкой, ведущей к обрыву, к беседке, где ждет ее Марк Волохов, не проникнута ли она чистейшим символизмом? «Вера,—так разъясняет Мережковский символическое значение этой сцены,—как идеальное воплощение души современного человека, колеблется и недоумевает, где же правда—здесь в кротких, строгих очах спасителя в древней часовне, или там, за «обрывом», в злобной, страшной и обязательной проповеди нового человека?»... Анализируя далее с этой точки зрения произведения Гончарова, нельзя не усмотреть все той же тенденции к символизации в симметризме гончаровских образов. Повсюду у него, как это уже неоднократно указывалось, мы встречаем параллельные фигуры, при чем параллелизм является могущественным орудием для оттенения их обобщающего значения. Племянник Адуева оттеняется дядею, Обломов Штольцем, Райский Тушиным, Вера Марфинкой и т. д.

Даже в плане, объединяющем гончаровские романы («в моих трех романах, — писал Гончаров в «Лучше поздно, чем никогда», — вижу не три романа, а один») «одною общею нитью, одною последовательной идеею — перехода от одной эпохи русской жизни к другой», нашел себе яркое отражение присущий творчеству этого писателя символизм. Ведь, по мнению Гончарова, пусть несколько спорному, с нашей точки зрения, вся русская жизнь XIX века укладывается в периоды, характеризуемые — первый — «слабым мерцанием необходимости труда, живого дела» («Обыкновенная история»), второй — «Сном» («Обломов»), третий — «Пробуждением» («Обрыв»), — логически развиваясь, как философская тема, напоминая собой триаду Гегеля.

Как отнестись к этой весьма важной и характерной особенности творчества Гончарова? Критик старшего поколения (В. Чуйко), соответственно с господствовавшими в его время эстетическими понятиями, готов был осудить за нее Гончарова. «Этот прием, — пишет он, — может и должен быть порицаем, как прием противоречащий коренной сущности искусства» (sic!), но тут же делает оговорку, лишающую его порицание всякого смысла: «Но когда он (прием) встречается в соединении с такой силой и интенсивностью отвлеченной мысли, с таким высоко-художественным анализом подробностей с таким редким талантом тонкой и проницательной наблюдательности, с таким чарующим чувством классической красоты, с такой чистотой стиля, с таким благородством воззрений и, в то же время, с такой твердостью понимания, то этот прием, — может быть, и изолированное явление в поэзии, но явление во всяком случае, чрезвычайно замечательное и остающееся в вечные времена украшением истории всемирной литературы. Гончаров догматизирует и морализирует, но в то же время и отражает жизнь глубоким проникновением в ее тайны, глубоким пониманием ее смысла. Пусть его произведения не подходят под ту или другую категорию

установившихся форм искусства—они все-таки имеют огромное значение и огромную цену».

Прошло очень немного времени, взгляд на «коренную сущность искусства» эволюционировал, и новый, тогда еще начинающий критик поставил Гончарову в величайшую заслугу то, в оценке чего его предшественник так колебался, не зная, должен ли он порицать или хвалить художника за правильно подмеченный и доказательно разъясненный символизм. В книге Мережковского «О причинах упадка и новых течениях в современной русской литературе» (1892 г.) читаем: «Гончаров—истинно гармонический и спокойный художник, творец живых человеческих душ. Он берет характеры людей целиком, как живые продукты истории, природы, времени, общества. Никто так не заставляет жить своих героев, на страницах книги отдельной собственной жизнью. Но вместе с тем типы Гончарова весьма отличаются от исключительно бытовых типов, какие мы встречаем, например, у Островского и Писемского, у Диккенса и Теккерея. Помимо жизненной типичности Обломова, нас привлекает к нему высшая красота вечных комических образов (как Фальстаф, Дон-Кихот, Санчо-Пансо). Это не только Илья Ильич, которого вы, кажется, вчера еще видели в халате, но и громадное идейное обобщение целой стороны русской жизни.

«Гончаров из всех наших писателей обладает вместе с Гоголем наибольшей способностью символизма. Каждое его произведение — художественная система образов, под которыми скрыта вдохновенная мысль. Читая их, вы испытываете то же особенное, ни с чем несравнимое чувство широты и простора, которое возбуждает грандиозная архитектура — как будто входите в огромное, светлое и прекрасное здание. Характеры — только часть целого, как отдельные статуи и барельефы, размещенные в здании,—только ряд символов, нужных поэту, чтобы возвысить читателя от созерцания частного явления к созерцанию вечного».

Несмотря на восторженный тон этих слов, Мережковский все же должен признать, что «способность философского обобщения» настолько сильна, «чрезмерно сильна в Гончарове», что «иногда прорывает, как острие, живую художественную ткань романа и является в совершенной наготе; например, Штольц—уже не символ, а мертвая аллегория».

Говоря о Гончаровском символизме, нельзя, во всяком случае, ни на минуту упускать из виду, что он вырос и развился на реалистической основе. Если и считать некоторые образы Гончарова символами, то не следует забывать, что их символизм не мешает им быть одетыми в реальные плоть и кровь, чего Гончарову никогда не удалось бы достигнуть, если бы он не исходил в своем творчестве от живых образов, почерпнутых как путем самонаблюдения, так и путем наблюдения над окружающей жизнью. Пусть образы Гончарова шире типов, но отрицать в них наличность и типических черт невозможно, а тип правдив и жизненен только тогда, когда за ним стоит ряд индивидуальных образов. Символизм Гончарова, само собой разумеется, далек от того символизма, который имеет в своей основе отвлеченную идею, чуждую реальной жизни во всем разнообразии ее явлений и типов. Как символист, хочется нам сказать, Гончаров не изменил тому знамени, знамени художественного реализма, под которым шли его великие современники — писатели 40-х годов.

Имея в виду эту сторону творчества Гончарова, мы не станем удивляться, что при всем своем тяготении к художественным обобщениям, он в то же время проявил себя удивительным мастером в изображении мелочей повседневной жизни, в жанровых картинах и сценах. Уже Дружинин, в своей рецензии об одной из частей «Фрегата Паллады», провел параллель между талантом Гончарова и талантами живописцев фламандской школы. «Будучи поэтичным в малейших подробностях создания, Гончаров,—говорит Дружинин,

—подобно фламандцам крепко держится за окружающую его действительность, твердо веруя, что нет в мире предмета, который не мог бы быть возведен в поэтическое представление силой труда и дарования. Подобно фламандцам, Гончаров ставит перед нашими глазами целую жизнь данной эпохи и данного общества».

В этом взгляде на Гончарова новейшая критика не только не расходится с Дружининым, но углубляет и развивает его точку зрения. Вот прекрасные строки, посвященные «фламандству» Гончарова из статьи о нем Айхенвальда: Гончаров «любит человека в его домашней обстановке, в окружении разнообразных мелочей повседневного, мирно текущего быта, среди вещей уютного родного угла. Он — поэт комнаты, певец дома; его привлекает маленький сонный городок и его незатейливые домики с мезонинами и садиками, где живут, хотя и сонные, но все-таки мирные человеческие души, где он встречает женщину «весь век проведшую в своем переулке, без суматохи, без страстей и волнений». Он с наслаждением рисует nature morte и тех, кто близок к ней по несложности своего психического мира — слуг, Агафью Матвеевну, эту царицу хозяйства, простодушную Марфиньку. Его занимает жизнь светлая, открытая, где прозрачные дома и души. Ему близка, ему дорога Обломовка, где царит природа прирученная, где небо приближено к земле и сама поэтическая луна очень походит на медный вычищенный таз, — Обломовка во всех ее видах и оттенках, и он сам говорит, что унес ее почву с собой в тропические страны и там вспоминал ее тишину, ее волжские пейзажи. В русской литературе он является художником фламандской школы: его тешит ее «пестрый сор», его интересует самый наряд жизни, и, поэт обыденности, он умеет извлекать теплое и задушевное из хозяйственной прозы».

«Фламандство» Гончарова часто идет рука об руку с юмором. Первая половина XIX века, в лице Грибоедова и Го-

голя выдвинула первокласных юмористов, но в 40-е и тем более последующие годы юмор почти иссяк в русской литературе. «Вместо прежнего смеха у Тургенева, Толстого, Достоевского,—по удачному выражению Д. С. Мережковского,—кое-где слабая улыбка, болезненная, как луч солнца в северную осень; у Щедрина резкий, желчный хохот». Гончаров, как великий юморист, до некоторой степени возродил традиции Грибоедова и Гоголя. Сила Гончаровского юмора — не даром он художник-фламандец — зиждется в выявлении смешного и жалкого, поскольку они содержатся именно в мелочах повседневной жизни.

Сколько глубины и значительности умеет он вложить в такую, казалось бы несущественную подробность, как человек одевает туфли. «Когда на душе Обломова было спокойно и тихо, когда жизнь его не трогала, и Штольц не звал к деятельности, вставая с постели, он, не глядя, привычным движением, попадал ногами прямо в туфли». Но в нем, пробудились сомнения, заговорило раскаяние: «Теперь, или никогда!» «Быть или не быть!» рассуждал он. И вот Илья Ильич приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять».

Как заставляет сжиматься сердце читателя упоминание о свеже выстиранном халате того же Ильи Ильича. После потрясшего Обломова до глубины души решительного объяснения с Ольгой, объяснения, закончившегося разрывом, Обломов «бог знает, где бродил, что делал целый день, но домой вернулся поздно ночью. Хозяйка (в лице которой Обломова подстерегала милая его сердцу, но убивающая всякую духовность обломовщина—*В. М.*) первая услыхала стук в ворота и лай собаки и растолкала ото сна Анисью и Захара, сказав, что барин воротился.

«Илья Ильич почти не заметил, как Захар раздел его, стащил сапоги и накинул на него халат.—Что это?—спросил он только, поглядев на халат.—Хозяйка сегодня принесла:

вымыла и починила халат,—сказал Захар. Обломов как сел, так и остался в кресле».

Несмотря на теплоту и задушевность Гончаровского юмора, в нем не чувствуется душевного надрыва. И вообще, несмотря на психическую неуравновешенность Гончарова, особенно ярко, как мы видели, проявившуюся во время работы над «Обрывом», писательский темперамент его отличается редким здоровьем, удивительною трезвостью. «Он никогда не спешит, не торопится, это—организация внутренне оседлая, привязанная к данному укладу жизни» (Айхенвальд). «Цельность и крепость души его не надломлены современным недугом. Гончаров рассудком понимает пессимизм. Но в сердце, в плоть и кровь его не проникла ни одна капля яда... По изумительной трезвости взгляда на мир Гончаров приближается к Пушкину. Тургенев опьянен красотой. Достоевский—страданиями людей. Лев Толстой—жаждой истины, и все они созерцают жизнь с особенной точки зрения. Действительность немного искажается, как очертания предметов на взволнованной поверхности воды. У Гончарова нет опьянения. В его душе жизнь рисуется невозмутимо-ясно, как мельчайшие былинки и далекие звезды отражаются в лесном глубоком роднике, защищенном от ветра. Трезвость, простота и здоровье могучего таланта имеют в себе что-то освежающее. Как бы ни были прекрасны создания других современных писателей, в них почти всегда есть какой-нибудь темный угол, откуда веет на читателя холодом и ужасом. Таких страшных углов нет у Гончарова. Все огромное здание его эпопей озарено ровным светом разумной любви к человеческой жизни. А между тем он понимает не меньше других ее темную сторону... Пошлость, торжествующая над чистотой сердца, любовью, идеалами—вот для Гончарова основной трагизм жизни. Другие поэты действуют на читатели смертью, муками, великими страстями героев, он потрясает нас—самодовольною улыбкою начинающего

карьериста (Адуева), халатом Обломова, промокшими ботинками Веры в ту страшную ночь, когда она вернулась от Волохова»... (Д. С. Мережковский).

В заключение остановимся на характеристике языка и стиля Гончарова. Этим вопросом специально занимался французский ученый А. Мазон, при чем результаты его изысканий в данной области представляются нам в такой мере заслуживающими внимания, что последующее изложение сплошь посвящено переводу отрывков из XIX гл. его прекрасной книги.

«Язык Гончарова,—говорил Белинский,—чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся». «Его манера рассказывать,—прибавлял он,—заставляет забывать, что это печатная книга, а не живая импровизация». «Он восхищает простотой своего языка»,—говорил о нем Писарев десятью годами позже в одной из наиболее враждебных из посвященных Гончарову статей. «Его слог удивительно плавен и ровен, без сучка и задоринки»,—писал Венгеров в своей работе о Гончарове. Подобные отзывы могут быть значительно умножены. Ни один русский автор, если исключить Пушкина и Тургенева, не составил себе не только среди критиков, но и широкой публики репутации такого «мастера слова», как Гончаров. Достоинства его языка состоят в чистоте, легкости, простоте, ясности. Сюда нужно присоединить еще одно качество, на которое Белинский, повидимому, не обратил внимания: его можно назвать «законченностью», «отделкой».

«Импровизация», с одной стороны, и «отделка», с другой, эти два понятия, кажется, содержат в себе противоречие, а между тем они дополняют друг друга. Язык Гончарова, несмотря на свойственный ему характер непринужденной импровизации, не страдает, однако, ни поспешностью, ни шероховатостью; он отличается «отделкой», но не той кропотливой отделкой, которая характерна для Флобера. Импро-

визация ему дала жизнь и естественность, два незаменимые качества, которые нам позволяют считать его «мастером в деле живой и легкой беседы», каким Гончаров и был, по отзыву одного из своих друзей; отделка ему дала лоск и совершенство, не нарушая в то же время естественности.

Первый черновой набросок, возникший в значительной степени непроизвольно, но более или менее законченный в главных чертах, затем кропотливая проверка деталей,—таков был, как можно думать, обычный процесс редакционной работы Гончарова. Знакомство с черновиком «Обломова» не оставляет никаких сомнений в этом отношении. Рассматривая внимательно зачеркнутые места, надстрочные надписи и вставки, которыми испещрена рукопись, нельзя не заметить, что обыкновенно общее построение фраз и параграфов сохранено без изменений, и только отдельные слова и предложения подверглись переделке. Здесь прибавлен или убавлен эпитет, там он несколько изменен, иное грузное придаточное предложение заменено прилагательным, иное слово, более выразительное, перенесено из средины фразы к ее началу. Весьма любопытна борьба автора с самим собой, о которой, мы, собственно, имеем лишь слабое представление, так как для того, чтобы воспринять ее во всей полноте, нам надо было бы ознакомиться с теми клочками бумаги, на которые он заносил свои первые впечатления. Борьба, которая к тому же не оканчивается со сдачей рукописи в типографию, так как автор, о чем, вероятно, сохранились воспоминания в типографии «Вестника Европы», продолжал делать непрерывные поправки в корректурных листах. Борьба, которая не кончается даже с напечатанием труда, потому что Иван Александрович уже ждет нового издания для новых изменений и новых поправок. Вспоминается его ответ книгоиздателю Вольфу, который его торопил напечатать полное собрание сочинений... «Мне придется еще исправить, переделать, сократить здесь и там. Разве я в силах предпринять теперь подобную работу?»...

Достаточно сравнить нынешний текст «Обломова» и «Обрыва» с опубликованными прежде отрывками этих двух романов, чтобы понять, чем была, в действительности, эта работа...

Язык Гончарова соответствует всецело его произведению. Выразительный и гибкий, но немного мелочно-конкретный в «Обыкновенной истории», нежный, пылкий и образный при описании «Сна Обломова», он верно отразил эволюцию этого произведения... Этот язык, прежде всего, очень национален, также как и его обладатель. Он принадлежит человеку, который вырос в среде чисто русской и православной, и который проникнут ее духом.

Это один из чистокровных русских и образованных петербуржцев, и вовсе не космополит. У него не найдешь ни галлицизмов, ни германизмов...

Несмотря на то, что он хорошо знает иностранные языки, он думает только по-русски. Так, например, если он вспоминает какое-нибудь французское выражение, то его не переводит, а только цитирует: это, конечно, с ним случается чаще, чем с писателем столь национального склада, как Гоголь, но гораздо менее часто, чем с писателями, проникнутыми духом иностранной культуры, как Герцен или Тургенев.

Наконец, он сам в «Литературном вечере» осмеивает пристрастие литераторов к французским словам.

Нет сомнения, что его язык не так богат словами, как язык Толстого и даже Тургенева. Гончаров не был ни офицером, ни помещиком, ни охотником. Он слишком исключительно жил в одной и той же среде, и только когда обстоятельства заставляли его покидать ее (как это было во время его кругосветного путешествия), его язык обогащался морскими терминами, или выражениями употребляемыми в Сибири.

Его язык остался таким, каким его сделали его происхождение и жизнь; гибкий, ясный, вполне рисующий ту среду,

которую он изображал. Русский до мозга костей, старый холостяк, он был слишком часто предоставлен обществу своего слуги и постоянно слышал отрывки из разговоров, которые по вечерам долетают со двора дома и узнаются без труда в разговорах Евсеича, Костякова, Захара, Агафьи Матвеевны, братца Тарантьева, Алексеева и т. д. Полную противоположность представляет язык образованного петербуржца, который говорит устами Адуева, Штольца и Райского; и автора можно упрекнуть лишь в том, что он наделяет слишком легко своих героев вплоть до Обломова и бабушки своим собственным даром блестящего собеседника.

Так, например, определение остроты, данное Татьяной Марковной, совсем не носит характера старой провинции: «острота фальшива, принарядится красным словцом, смехом, ползет как змей в уши, норовит подкрасться к уму и помрачить его»...

Теперь коснемся стиля Гончарова. Его стиль, прежде всего, стиль наблюдателя, у которого более всего развита зрительная восприимчивость и старание передать словами ощущение видимой вещи. Он точен, ясен, колоритен, в особенности в «Сне Обломова». Фразы следуют друг за другом, твердые, как бы закругленные, ровным темпом, спокойно нанизывая деталь за деталью, и иногда, когда это нужно, обстоятельно повторяя одну из них, развертывая постепенно рассказ с величавым спокойствием, которое заставляет вспоминать о Гомеровском эпосе. Во всем этом проглядывает любовь к повседневной жизни и выявляется спокойное настроение духа, которому нет примера в русской литературе.

Стиль Гоголя обладает большею страстностью, большею нервностью. Стиль Толстого имеет больше мощи и разнообразия, но менее грации и изящества. Стиль Тургенева таит секрет магически вызывать целые картины в двух строках, но он лишен той внутренней жизнерадостности,

которая просвечивает, как блестящий луч, через каждую страницу «Обыкновенной истории» и «Обломова». Наконец, стиль Достоевского, экспрессивный до крайних пределов, тяжелый и запутанный, является полной противоположностью спокойному и легкому искусству Гончарова. Смягченный и как бы позлащенный любовью к будничному существованию, этот стиль реалиста-повествователя легко становится также и стилем поэта... Самый реальный объект преобразуется силою его творческого воображения, принимая облик то комического, то изящного. «Тарантьев в кругу своих знакомых играл роль большой сторожевой собаки, которая лает на всех, не дает никому пошевелиться, но которая в то же время непременно схватит на лету кусок мяса, откуда и куда бы он ни летел». «Сделайте молящуюся фигуру!— сморщившись, говорил Кириллов, так что и нос ушел у него в бороду, и все лицо казалось щеткой». «Вся голова... как она нежно покоится на этих плечах», шепчет Обломов, думая об Ольге, «точно зыблется, как цветок, дышет ароматом». Ощущение или чувство также материализируются с помощью образов, взятых из мира природы или же из жизни животных.

Илья Ильич смотрит на Агафью Матвеевну с таким же удовольствием, «как на горячую ватрушку»; он «сближался с ней—как будто подвигался к огню, от которого становится все теплее и теплее, но которого любить нельзя»; она получает свой первый поцелуй, «стоя прямо и неподвижно, как лошадь, на которую надевают хомут». Мысли поднимались в голове Обломова «одна за другой и беспорядочно, пугливо носились, как птицы, пробужденные внезапно лучом солнца в дремлющей развалине». Райский желает проникнуть в тайну Веры и «выходит из омута этого анализа ни безнадежнее, ни увереннее, чем был прежде, а все с тою же мучительною неизвестностью, как купающийся человек, который, думая, что нырнул очень далеко, выплывает опять на прежнем месте».

И эта потребность конкретизировать у Гончарова так велика, что явление чисто моральное превращается в его глазах в явление обыденного житейского характера, как об этом ярко свидетельствует хотя бы следующий пример: «Что ни встречалось, он (Штольц) сейчас же употреблял тот прием, какой был нужен для этого явления, как ключница сразу выберет из кучи висящих на поясе ключей тот именно, который нужен для той или другой двери».

БИБЛИОГРАФИЯ *)

I. Биографические сведения.

1) Автобиография Гончарова из «Художественного листка» Тимма за 1859 г. перепечатана А. Мазоном в «Русской Старине», 1911 г., № 10.

2) Автобиография Гончарова из «Сборника исторических и статистических материалов о Симбирской губ.» 1868 г. перепечатана М. Суперанским в «Вестнике Европы», 1907 г., № 2.

3) А. Мазон. «Материалы для биографии и характеристики Гончарова»: «Русская Старина», 1911 г., №№ 10 и 11; 1912 г., №№ 3 и 6.

4) М. Суперанский. Гончаров и новые материалы для его биографии: «Вестник Европы», 1907 г., № 2, 1908 г. №№ 11 и 12.

5) В. Максимов-Евгеньев. Статьи о службе Гончарова в цензурном ведомстве: «Ежемесячный журнал», 1916 г., №№ 9—10, «Северные записки», 1916 г., № 9, «Голос Минувшего», 1916 г., №№ 11—12, 1919 г., № 1—4, «Книга и революция», 1921 г., № 1 (13).

6) С. Г. Тер-Микельян. «Больная душа Гончарова», Пгр., 1916 г.

7) И. А. Гончаров и И. С. Тургенев по неизданным материалам «Пушкинского Дома», с предисловием и примечаниями Б. М. Энгельгардта (главным образом, о ссоре Гончарова и Тургенева), Пгр., 1923 г.

8) Е. Соловьев. «И. А. Гончаров». Изд. Павленкова (популярный очерк).

---

*) Печатаемая ниже библиография заключает перечень лишь важнейших источников для изучения жизни, личности и творчества Гончарова.

II. Переписка и воспоминания.

1) Письма Гончарова к М. М. Стасюлевичу напечатаны в книге: «М. М. Стасюлевич и его современники», т. IV, СПБ. 1912 г.

2) Письма Гончарова к П. А. Валуеву напечатаны в книге Военского «Гончаров в неизданных письмах к гр. Валуеву». СПБ., 1906 г.

3) Письма Гончарова к Е. В. Толстой вместе со статьей П. Н. Сакулина «Новая глава из биографии Гончарова» напечатаны в «Голосе Минувшего», 1913 г., № 11 и 12.

4) Из переписки Гончарова с М. А. и Е. А. Языковыми, И. Ф. Горбуновым, Ю. Н. Ефремовой, А. В. Дружининым и А. В. Плетневой, с прим. Б. Л. Модзалевского во «Временнике Пушкинского Дома», 1914 г.

5) Тридцать четыре письма Гончарова к Ю. Д. Ефремовой, с примечаниями и предисловием Б. Модзалевского, в «Невском Альманахе» «Из прошлого», 1917 г.

6) Г. Потанин. «Воспоминания о Гончарове». «Исторический Вестник», 1903 г., № 4.

7) А. Ф. Кони. «И. А. Гончаров» «На жизненном пути», СПБ. 1912 г.

III. О творчестве Гончарова вообще.

1) A. Mazon. Un maitre du roman russe Ivan Gontcharov, Paris. 1914.

2) Е. А. Ляцкий. «И. А. Гончаров. Жизнь, личность, творчество». СПБ. 1912 г. 2-е изд.; 3-е издание этой книги вышло в 1920 г. в Стокгольме; при нем, в виде приложения, напечатана повесть Гончарова «Счастливая ошибка».

3) С. Венгеров. Собр. соч., т. V, СПБ, 1911 г.

4) Д. Писарев. а) Писемский, Тургенев и Гончаров; б) Женские типы в произведениях Писемского, Тургенева и Гончарова. Собр. соч., т. I.

5) В. Острогорский. «Этюды о русских писателях». «И. Гончаров». СПБ., 1910 г.

6) Д. Мережковский. а) «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы». СПБ. 1893 г. б) «Вечные спутники». СПБ., 1897 г.

7) Ю. Айхенвальд. «Силуэты русских писателей», т. I.

8) Иванов-Разумник. «История русской общественной мысли», т. I.

9) В. Чуйко. «И. А. Гончаров. Опыт литературной характеристики». «Наблюдатель», 1891 г., № 12.

10) «Сборник историко-литерат. статей о Гончарове». Составил В. Покровский. М., 1912 г.

IV. Об отдельных произведениях Гончарова.

а) «Обыкновенная история»: В. Белинский. Собр. соч. т. IV (изд. Павленкова); Ор. Миллер, «Русские писатели после Гоголя», т. II, В. Переверзев, «Печать и Революция», 1923 г., №№ 1 и 2.

б) «Фрегат Паллада»: А. Дружинин, «Современник», 1856 г., № 1; Дудышкин, «Отечественные Записки», 1856 г., № 1 и С. А. Венгеров. Собр. соч., т. V.

г) «Обломов»: Н. Добролюбов. «Что такое обломовщина? Собр. соч., т. II; А. Дружинин. Обломов. Собр. соч., т. VII. Овсянико-Куликовский. Обломов. Обломовщина и Штольц. «История русск. интеллигенции», т. I; И. Анненский. «Гончаров и его Обломов», «Русская Школа». 1892 г., № 4 и Ор. Миллер (см. выше).

д) «Обрыв»: А. Скабичевский. «Старая правда». Собр. соч., т. I; Н. Шелгунов. «Талантливая бесталанность». Собр. соч., т. II; М. Салтыков. «Уличная философия». «Отечественные Записки», 1869 г., № 6; Ор. Миллер (см. выше).

Уже после того, как наша работа была закончена, в «Сборнике Российской Публичной Библиотеки», т. II, 1924 г., появилась неизданная рукопись Гончарова под заглавием «Необыкновенная история», посвященная доказательству того, что он был жертвой систематического плагиата со стороны Тургенева, и ярко свидетельствующая об его душевном недуге.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цена 1 руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА, РОЖДЕСТВЕНКА, УГОЛ СОФИЙКИ, 4
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: ЛЕНИНГРАД, МОХОВАЯ, 36

